

ФРЕДРИК ДЖЕЙМИСОН

Реально существующий марксизм*

Памяти Билла Померанса

Для тех, кто не особенно заботится о проведении границ между самим марксизмом как способом мышления и анализа, социализмом как политической и общественной целью и мечтой и коммунизмом как историческим движением, гибель советского государства стала поводом для торжественных заявлений о «смерти марксизма». Это событие оставило свой след на всех трех указанных измерениях, и трудно не согласиться с тем, что исчезновение государственной власти, ассоциируемой с данной идеей, вероятно, оказало неблагоприятное влияние на ее интеллектуальный престиж. Так, известно, что число [американских] студентов, занимавшихся Францией, резко сократилось, когда генерал де Голль сложил с себя президентские полномочия в 1970 году; но можно выдвинуть и более изощренное предположение о том, что закат этой интеллектуальной моды связан с неким более объективным снижением «значимости» французского как такового.

Во всяком случае, на Западе левая идея вообще и марксизм в частности испытывали определенные сложности задолго до падения Берлинской стены или распада КПСС, и связаны они были с тремя направлениями критики: прежде всего, с отходом от политических традиций марксизма-ленинизма, восходящим еще к обособлению маоизма в конце 1950-х годов; затем с философским «постмарксизмом» поздних 1960-х, в котором зарождающийся новый феминизм объединил свои силы с различными вариантами постструктурализма в обличении таких классических марксистских тем, как тотальность и тотализация, цель, референт, производство и так далее; наконец, с интеллектуальными правыми, которые, сложившись на протяжении 1980-х годов, использовали распад восточноевропейского коммунизма, чтобы заявить о банкротстве социализма и окончательном установлении господства рынка.

Более парадоксален тот особый вид скорби, который по аналогии с известным аффектом благодушного мечтательства, или принятия желаемого за действительное ('wishful thinking') я бы назвал «благодушным сожалением», и который овладел даже теми, от кого его меньше всего можно было ожидать.

* Fredric Jameson, 'Actually Existing Marxism,' in: C. Casarino & R. E. Karl, S. Makdisi (eds.) *Marxism beyond Marxism* (New York: Routledge, 1996), pp. 14–54.

Эта скорбь охватила как тех, кто пытался выжать последнее из своей враждебности к фантазматическому коммунизму, так и тех, кто всегда утверждал, что Советский Союз не имеет ничего общего с тем, что их фантазия воображала подлинным социализмом. При этом, несмотря на заверения в обратном, в глубине души они по-прежнему верили, что Советский Союз способен перейти к подлинному социализму (задним числом последним подходящим для этого моментом представлялся прерванный эксперимент Хрущева). Другая разновидность «благодушного сожаления» исходила от тех, кто в опыте и структуре самих коммунистических партий (особенно на Западе) видел испорченный политический инструмент, отсутствие которого, однако, обеднило бы нас (и в лучшем случае просто ускорило бы эволюцию западных либеральных государств в классическую двухпартийную систему).

И конечно, крах восточноевропейских партийных государств (подтвердив проницательную оценку Валлерстайна, считавшего их антисистемными, а вовсе не составляющими основу некой новой самостоятельной миросистемы) повсеместно сопровождался тем, что Кристофер Хилл назвал «опытом поражения». Такое настроение стоит распространить далеко за пределы предшествовавших случаев, когда люди испытывали сходное во время других осязаемых и абсолютных моментов «конца истории». И его также следует отличать от поразительной картины оппортунизма многих левых интеллектуалов, для которых все, по-видимому, сводится к вопросу о том, работает ли социализм, как та машина, и которые озабочены главным образом тем, чем можно заменить его в случае, если он все же не работает (экологией? религией? традиционной ученостью?). Все, кто считает диалектику уроком исторического терпения, и те немногие утопические идеалисты, которые по-прежнему уверены в том, что неосуществленное лучше реального или даже возможного, сильно удивились и огорчились, увидев стремительное бегство марксистских интеллектуалов; и, несомненно, они подивились самим себе, что полагали, будто левые интеллектуалы были прежде всего леваками, а потом уже интеллектуалами.

Но от других форм радикализма и популизма марксизм всегда отличало отсутствие в нем антиинтеллектуализма; поэтому необходимо отметить, что положение интеллектуала всегда оказывается сложным и проблематичным в отсутствие массовых движений (то, с чем американские левые сталкивались намного чаще своих соратников в других странах); и подобный левый оппортунизм лучше всего объясняется всепроникающей атмосферой незамедлительной отдачи, порождаемой современным обществом. Такие требования с трудом сочетаются с одной из основных особенностей человеческой истории, а именно с тем, что человеческое, индивидуальное время, не совпадает с социально-экономическим временем и, в частности, с ритмами или циклами — так называемыми кондратьевскими волнами — самого капиталистического способа производства с его небольшими окнами возможностей, открывающимися для коллективного праксиса, и невероятно бесчеловечными периодами бедствий и непреодолимой нищеты. Нужно не верить в механическую смену прогрессивного и реакционного периодов (хотя рыночные циклы в какой-то степени ее объясняют), чтобы понять, что, будучи биологическими организмами, имеющими определенную продолжительность жизни, мы плохо приспособлены как биологические индивиды к наблюдению за более фундаменталь-

ной динамикой истории, видя только тот или иной незавершенный промежуток времени, который мы торопимся истолковать в слишком-человеческих терминах удачи или поражения. Но ни стоическая мудрость, ни напоминание о более длительной перспективе не способны действительно разрешить эту особую экзистенциальную и эпистемологическую дилемму, сопоставимую с научно-фантастической дилеммой существ, живущих в мире, для восприятия или познания которого у них нет необходимых органов. Возможно, только признав эту радикальную несоизмеримость человеческого существования и динамики коллективной истории и производства, можно будет прийти к созданию некоей новой этики, которая позволит нам дедуцировать отсутствующую тотальность, издевающуюся над нами, и не умалить хрупкой значимости нашего личного опыта; так можно будет породить и новые политические установки, новое политическое восприятие и политическое терпение, новые методы расшифровки эпохи и различия в ней слабых знамений неясного будущего.

Между тем, Валлерстайн был отнюдь не первым, кто пришел к выводу о невозможности развития новой глобальной системы из замкнутого большевистского и сталинистского эксперимента; уже небезызвестный Маркс (скорее, Маркс «Экономических рукописей 1857–1859 годов», чем Маркс ликующих пассажей «Капитала») неустанно подчеркивал значение мирового рынка в качестве последнего горизонта капитализма и замечал не только то, что социалистическая революция должна произойти в странах с высоким уровнем производства и наиболее развитой экономикой, а не в странах с зачаточной модернизацией, но и то, что она должна быть мировой. Конец национальной автономии в миросистеме позднего капитализма, по-видимому, еще более решительно исключает возможность эпизодических социальных экспериментов, чем в эпоху модерна (где им все же удалось просуществовать в течение длительного времени). Безусловно, представления о национальной автономии и автаркии сегодня совершенно непопулярны и усиленно дискредитируются средствами массовой информации, которые обычно увязывают их с поздним Ким Ир Сенем и его доктриной чучхе. Возможно, это удерживает страны, наподобие Индии или Бразилии, от провозглашения своей национальной автономии; но нам не следует отказываться от попытки представить, какими могут быть последствия выхода страны из мирового рынка и какая для этого может понадобиться политика. Также возникает вопрос о том, что именно обеспечивает столь неумолимую интеграцию нового мирового рынка, и ответ на этот вопрос, помимо роста зависимости от импорта и разрушения местного производства, сегодня должен быть, как мы увидим позднее, в значительной степени культурным. Усилению стремления к интеграции в мировой рынок явно способствуют обращение информации в мире и экспорт развлечений (преимущественно голливудской продукции и американского телевидения), который не только укрепляет такие международные стили потребления, но и — что еще более важно — препятствует формированию автономных и альтернативных культур, основанных на иных ценностях или принципах (или же, как в случае социалистических стран, устраняет любые изначально существовавшие возможности возникновения такой автономной культуры).

Поэтому культура (и теория товарного овеществления) становится теперь важнейшей политической проблемой капитализма; в то же самое время рас-

суждения об относительном перераспределении влияния идеологии на другие, более важные культурные практики подтверждают идею Стюарта Холла о «дискурсивной борьбе» как основной форме легитимации или делегитимации идеологий сегодня. Погружение в культуру потребления сопровождалось систематической делегитимацией лозунгов и понятий, от национализации и государства всеобщего благосостояния до экономических прав и самого социализма, некогда считавшегося не только возможным, но и желательным, тогда как сегодня всепроницающий цинический разум объявляет его неосуществимым. Была ли она причиной или следствием, такая делегитимация самого языка и системы понятий социализма (и его замещение тошнотворно-самодовольной рыночной риторикой) определенно сыграла главную роль в нынешнем «конце истории».

Но опыт поражения, включающий все описанное и много больше, связан с тем почти всеобщим ощущением бессилия, которое охватило широкие слои общества во всем мире с конца 1960-х годов, и с глубокой уверенностью в фундаментальной невозможности сколько-нибудь реальных системных перемен в наших обществах. Зачастую это выражалось в растерянности и колебаниях в определении движущих сил перемен и принимало форму ощущения удивительно постоянной и не- или постчеловеческой неизменности наших безмерно сложных институтов (при всех их бесконечных метаморфозах), которое чаще всего рассматривалось с высоко- или позднетехнологической точки зрения. Результатом стало инстинктивное убеждение в тщетности любых видов деятельности или праксиса и извечное безволие, которым объясняется страстная приверженность множеству разных заменителей и альтернативных решений: особенно религиозному фундаментализму, национализму и различным проявлениям ревностного участия в местных инициативах и действиях (и политике «единственного выхода»), а такжеприятие неизбежного, выражающееся в истерической эйфории по поводу некоего невероятного плюрализма позднего капитализма с его якобы признанием социальных различий и «мультикультурализма». Здесь важно подчеркнуть разрыв между технологией и экономикой (точно так же, как при рассмотрении марксизма будет разделяться политическое и экономическое или социальное). В сущности, технология служит чем-то вроде культурного лозунга или особого кода третьей стадии капитализма: иными словами, она представляет собой особую форму представления позднего капитализма о самом себе, способ, каким бы ему хотелось мыслить самого себя. И этот способ представления подкрепляет иллюзию автономизации и уже описанное чувство бессилия: точно так же старомодная механика теперь не способна ничего сказать об автомобильных двигателях, управляемых компьютерными программами. Однако важно проводить различие между этим технологическим фасадом, который, конечно, также представляет собой культурное явление, и социально-экономической структурой позднего капитализма, которая по-прежнему соответствует марксовым описаниям.

Итак, я подхожу к сути этой статьи, которая призвана обосновать значимость марксизма для нашей нынешней ситуации через рассмотрение следующих вопросов: 1) чем же является марксизм, если средства массовой информации и различные правые болтуны заблуждаются на его счет? 2) чем в таком

случае является социализм и каким он может быть (или мыслиться) в будущем? и, прежде всего, 3) как они могут соотноситься с крайне стигматизированным понятием революции? 4) чем же был коммунизм и что с ним произошло? 5) и, наконец, как логическое следствие из всего вышесказанного, чем является поздний капитализм и что способен предложить марксизм для новой политики, которая, возможно, возникнет вслед за ним? какие новые теоретические задачи ставит поздний капитализм перед новым марксизмом или марксизмом третьей стадии, который начал складываться вместе с ним?

I

Чем является марксизм? Или, если угодно, что марксизмом не является? Им не является, в частности, философия XIX века, как утверждали некоторые (от Фуко до Колаковского), хотя он и возник из нее (но точно так же можно утверждать, что диалектика сама по себе является незавершенным проектом, который предвосхищает еще не существующие сегодня образы мысли и действительность).

Отчасти этот ответ может быть оправдан утверждением, что марксизм в этом смысле не является философией; он несколько неуклюже называет себя «единством теории и практики» (и, если вы понимаете, о чем идет речь, очевидно, что по своей структуре он похож на фрейдизм). Но точнее было бы сказать, что лучше всего осмыслять его как некую *проблематику*: то есть его можно опознать не по специфическим позициям (политическим, экономическим или философским), а по приверженности особому комплексу проблем, формулировки которых всегда меняются и подвергаются пересмотру и реструктурированию вместе со своим объектом исследования (самим капитализмом). Точно так же можно сказать, что продуктивность марксистской проблематики обусловлена ее способностью создавать новые проблемы (как мы это сможем пронаблюдать на примере анализа позднего капитализма); при этом различные проявления догматизма, исторически связанные с марксизмом, нельзя возводить к какому-то фатальному изъяну в этом проблемном поле, хотя очевидно, что марксисты были не свободнее других от эффектов интеллектуального овещствления и, например, неизменно полагали, что базис / надстройка представляют собой решение и концепцию, а не проблему и дилемму; точно так же они упорно считали так называемый «материализм» философской и онтологической позицией, а не общим обозначением операции, которую мы можем назвать деидеализацией, операцией, бесконечной в классическом фрейдовском смысле слова и неосуществимой на какой-то постоянной основе на протяжении длительного промежутка времени (поскольку идеализм служит наиболее подходящим определением обыденного человеческого мышления).

Изначально проблематика марксизма касалась структурных и исторических особенностей производства стоимости в промышленном капитализме: в основе его понятийного пространства лежал феномен прибавочной стоимости, который обладал одним важным преимуществом в том смысле, что мог быть истолкован множеством различных способов. То есть проблема прибавочной стоимости смогла преобразоваться во множество внешне различных проблем и областей, соответствовавших специализированным языкам и дис-

циплинам, многие из которых тогда еще не существовали в своем нынешнем академическом виде. Прибавочная стоимость смогла рассматриваться, например, через феномен товарного производства, ведущий к социальной психологии товаров и потребления (или тому, что Маркс называл «товарным фетишизмом»). Ее оказалось возможным проследить также в области теории денег (банки, инфляция, спекуляция, фондовая биржа, не говоря уже о том, что Зиммель называет «философией» денег). Она преобразуется — путем самых поразительных мифологических мутаций — в яркое и живое присутствие самих социальных классов. Она ведет ко второй — теневой — жизни правовых форм и юридических категорий (и, в частности, различных исторических — традиционных и современных — форм отношений собственности). Само ее существование становится основным вопросом современной историографии (как повествования о ее возникновении и ее различных судьбах).

Прибавочная стоимость часто считается — и это мнение заслуживало бы критики — темой экономической, которая чаще всего принимала в марксизме форму изучения кризиса и падения нормы прибыли, а также результатов и последствий основного механизма накопления капитала (сюда также относится экономика возможных или реальных социализмов). И, наконец, это понятие, по-видимому, обосновывает — но и порождает — множество теорий идеологии и культуры и делает своей основной областью применения мировой капитализм (как внешний предел своей структурной потребности в накоплении), включая развитие империализма и его поздних разновидностей (неоколониализм, гиперимпериализм, миросистема). Преобразование понятия прибавочной стоимости в этих совершенно различных дисциплинарных языках или областях специализации составляет проблематику марксизма как связанного понятийного пространства (которое можно картографировать) и позволяет объяснять многообразие специфически марксистских идеологий и политических программ или стратегий.

Кризисы марксистской парадигмы всегда происходили именно тогда, когда казалось, что его основной предмет исследования — капитализм как система — видоизменяется или претерпевает непредвиденные или непредсказуемые преобразования. Поскольку прежняя трактовка проблематики больше не соответствует новому положению дел, возникает серьезный соблазн сделать вывод, что сама парадигма — в соответствии с куновским представлением о развитии науки — внезапно устарела и что необходимо разработать новую, если ее еще не существует.

Именно так обстояло дело в 1898 году, когда Эдуард Бернштейн в «Предпосылках социализма и задачах социал-демократии» предложил провести радикальную «ревизию» марксизма в свете его мнимой неспособности объяснить сложность современных общественных классов и приспособляемость современного капитализма. Бернштейн призвал отказаться от восходящей к Гегелю диалектики и самого понятия революции и реорганизовать политику II Интернационала на основе массовой демократии и избирательного процесса. Именно эти особенности первого «постмарксизма» вновь проявились в 1970-х годах, когда, как грибы после дождя, начали появляться более сложные разновидности этого диагноза и рецепты (при этом втором явлении постмарксизма никто не смог заявить о нем так же ярко и громко, как во времена Бернштейна,

хотя книгу Хайндса и Херста о «Капитале», вышедшую в 1977 году, можно считать первой ласточкой, а «Гегемонию и социалистическую стратегию» Лаклау и Муффа, опубликованную в 1985 году, — полным раскрытием темы).

Содержание этих постмарксизмов (пытаются ли они по-прежнему сохранить связь с указанной традицией или же призывают к ее полному искоренению) различается в зависимости от того, каким образом в них описывается судьба объекта, анализировать который был призван марксизм, а именно — самого капитализма. Они могут, например, утверждать, что классического капитализма больше не существует, и говорить о том или ином «посткапитализме» (идея «постиндустриального общества» у Дэниела Белла представляет собой одну из наиболее влиятельных разновидностей этой стратегии), в котором об описанных Марксом особенностях и — главное — о развитии антагонистических общественных классов и главенстве экономики (или «базиса») уже не может быть речи (в основе организации и развития посткапитализма у Белла лежат научное знание и образованные «правители-философы»). Или можно попытаться отстоять идею о том, что некое подобие капитализма все еще существует, но при этом становится все более мягким и — независимо от того, чем это может быть вызвано (надежда на более широкое товарное потребление, всеобщая грамотность, просвещенное осознание своих интересов), — более восприимчивым к народной воле и общим нуждам; поэтому больше нет необходимости настаивать на радикальных системных изменениях, не говоря уже о революции. Такова — или, по крайней мере, ее принято считать таковой, — позиция различных выживших социал-демократических движений.

Наконец, можно утверждать, что капитализм по-прежнему существует, но его способность к производству богатства и улучшению положения своих субъектов серьезно недооценивалась (особенно марксистами), что в действительности капитализм сегодня является единственным жизнеспособным путем к модернизации и общему развитию, если не богатству. Такова, конечно, риторика сторонников рынка, и в последние годы она возобладала над двумя другими линиями аргументации (хотя они переплетены между собой и вовсе не являются взаимоисключающими).

Куда более убедительной оказывается позиция, наиболее ярко изложенная Робертом Курцем, например, в «Крахе модернизации», которая заключается в том, что при позднем капитализме способность к производству новой прибавочной стоимости — иными словами, способность к модернизации в классическом смысле индустриализации и капиталовложений — оказалась утраченной. Капитализм вполне может торжествовать, но его последствия все чаще связаны, с одной стороны, с головокружительными денежными спекуляциями, а с другой — с новыми формами «обнищания» в виде структурной безработицы и обречения огромных областей «третьего мира» на вечную непроизводительность. Если дело обстоит именно так, то необходима некая новая разновидность постмарксизма, совершенно отличная от той, что связана с более оптимистической точкой зрения на капитализм, изложенной выше.

Но перед тем как приступить к анализу исторического значения различных постмарксизмов, следует оценить представления о капитализме, на которых они основываются и которые предполагают определенное преобразование описанной Марксом основной структуры. Конечно, проще всего опроверг-

нуть тезис Белла о том, что связь современного бизнеса с наукой и технологией отменила прежнюю капиталистическую динамику прибыли и конкуренцию. Достаточно вспомнить множество современных споров или скандалов, связанных с коммерческим использованием научных продуктов — например, патентование биологического разнообразия тропических дождевых лесов или различные лекарства от СПИДа — и отчаянный поиск учеными финансирования относительно «неприбыльных» научных исследований.

Наоборот, легко можно показать, что ни один бизнес в сегодняшнем мире (каким бы сложным и специфичным он ни был) не способен преодолеть стремление к извлечению прибыли даже на местном уровне: в действительности, мы можем наблюдать его глобальные проявления при реорганизации областей, которые до сих пор оставались относительно независимыми от постмодернизации — областей, которые простираются от старомодного книгоиздания до сельского хозяйства, в котором все старое безжалостно искореняется, а обладающие огромными возможностями монополии проводят реорганизацию исключительно на формальной основе (иными словами, с точки зрения прибыли на инвестированный капитал) безо всякой связи с содержанием деятельности. Этот процесс происходит в относительно менее развитых анклавах развитых стран (зачастую культурных или сельскохозяйственных) и сопровождается проникновением капитала в прежде нетоваризованные зоны остального мира.

Поэтому было бы ошибкой считать, что изначальная направленность исторического развития капитализма подвергается преобразованию или эволюционной реструктуризации; можно увидеть, что сохраняющееся стремление к максимизации прибыли — или, иными словами, к накоплению капитала как такового (то есть речь идет не о личных побуждениях, а о структурной особенности системы, ее потребности в расширении) — сопровождается другими столь же знакомыми чертами из недавнего прошлого человечества: сменой экономических циклов, колебаниями на рынке труда и разрушительным воздействием все более быстрых промышленных и технологических изменений, хотя в глобальном масштабе такие устойчивые особенности производят впечатление чего-то доселе невиданного.

Что касается демократии и затянувшихся неудач и капитуляций социал-демократии, о которых уже говорилось, то достаточно посмотреть на беспрецедентное преклонение сегодняшних правительств перед ортодоксией бизнеса (к примеру, сбалансированным бюджетом или в целом политикой МВФ), чтобы без труда придти к выводу о том, что система отвергает любые коллективные требования, способные повлиять на ее работу (это не значит, что она всегда сможет действовать очень ровно). К эпизодическим попыткам следования самостоятельному национальному курсу или сколько-нибудь решительного изменения приоритетов экономической политики правительства, которое может причинить ущерб интересам деловых кругов, сегодня, после исчезновения Советского Союза, относятся менее терпимо, чем когда бы то ни было прежде: свержение Альенде служит парадигматическим откликом на такое небывалое ослабление популизма или национальной независимости.

Что касается рынка, то его риторика — это, безусловно, идеология, апеллирующая к вере и нацеленная на действия и достижение политических резуль-

татов. Столь же правдоподобен апокалиптический сценарий, по которому рынок окажется фатально неспособным улучшить жизнь двух третей жителей Земли; на деле же этот сценарий уже проводится в жизнь самими сторонниками рынка, которым иногда нравится описывать эти части света (Африку, бедные страны Восточной Европы) как неспособные ощутить благотворный модернизирующий эффект соответствующих рыночных условий. Они упускают из виду роль новой миросистемы в этой ужасающей пауперизации населения планеты.

Так что, на мой взгляд, является аксиомой, что капитализм сегодня не претерпел сколько-нибудь серьезных изменений по сравнению со временами Бернштейна. Но следует понимать и то, что резонанс, вызванный ревизионизмом Бернштейна, и влияние сегодняшних постмарксизмов — это не какое-то побочное явление, а культурная и идеологическая реальность, которая сама по себе нуждается в историческом объяснении: в действительности, поскольку в этом случае предполагается утрата объяснительной способности старого марксизма перед лицом новых событий, было бы лучше, если бы само объяснение, и его обоснование были марксистским.

Мы уже вкратце сказали об основных особенностях анализа капитализма у Маркса, а именно — что капитал должен беспрестанно расти, а не останавливаться на достигнутом: накопление капитала должно увеличиваться, производительность — расти, постоянно изменяясь, разрушая старое и создавая новое («все застойное...»). К тому же считается, что капитализм внутренне противоречив и постоянно проникает туда, где ему приходится сталкиваться с законом падения нормы прибыли, стагнацией, непродуктивной суетой спекуляций и тому подобным. Поскольку такие последствия в значительной степени связаны с перепроизводством и насыщением доступных рынков, Эрнест Мандель (в «Позднем капитализме») говорит не только, что капитал, как правило, спасается при помощи технологических новшеств, которые открывают эти рынки для товаров совершенно нового рода, но и что за три столетия своего существования система в целом научилась справляться с кризисами. Между тем при рассмотрении несколько более широкого промежутка времени Джованни Арриги (в «Долгом двадцатом веке») выявил этап спекуляции и финансового капитала, очень похожий на тот, что мы наблюдаем в «первом мире» почти во всех циклах расширения миросистемы (испано-генуэзском, голландском, английском, а теперь американском). По Манделю, капитализму удается выходить из циклических кризисов именно благодаря внедрению радикально новых видов технологии, которое, приводя к смещению его центра тяжести, также определяет судорожное расширение системы в целом и распространение ее логики и гегемонии на все более широкие области.

* * *

Кажется неслучайным, что эти важные системные преобразования точно совпадали по времени с появлением постмарксистских подходов, о которых говорилось ранее. В случае Бернштейна это была эпоха империализма (монополистический этап по Ленину), когда наряду с новыми технологиями электричества и двигателя внутреннего сгорания и новыми моделями организа-

ции в виде трестов и картелей рыночная система выходила за пределы «развитых» национальных государств при относительно системном разделе мира на европейские и североамериканские колонии и сферы влияния. Резкие преобразования в области культуры и сознания, известные специалистам в различных отраслях гуманитарных наук — возникновение модернизма во всех видах искусства, которому предшествовали натурализм и символизм, открытие психоанализа, приведшее к появлению множества незнакомых новых форм мышления в науке, витализм и механистичность в философии, торжество классического города, волнующие новые типы массовой политики — все эти новшества конца XIX столетия, исходная связь которых с изменениями в базисе, уже упоминавшаяся нами, вполне может быть продемонстрирована, теперь, по-видимому, требовали преобразований в самом марксизме XIX столетия (марксизме II Интернационала).

Таким образом, эпохой первого постмарксизма является эпоха модерна или модернизма (если следовать схеме, согласно которой первый, национально-капиталистический период — со времени Великой французской революции — определяет эпоху «реализма» или секуляризации; а последняя эпоха капитализма, реструктуризация капитализма в ядерную и кибернетическую эпоху, теперь называется «постмодерном»). Ревизионизм Бернштейна сегодня можно считать ответом на изменения в содержании, связанные с этим эпохальным переходом от первой (внутренней национальной) ко второй (современной [*modern*] или империалистической) стадии капитализма. При этом в бернштейновском анализе роста благосостояния рабочего класса, возникновения множества классовых подразделений, которые перестают отождествлять себя с ним напрямую, и сдвига в сторону политических (расширение демократии), а не на социально-экономических целей, уже отмечены следствия новой империалистической системы, сложившейся около 1885 года. (В действительности, империализм начал обсуждаться II Интернационалом спустя годы, во время Первой мировой войны, в связи с понятием «ультраимпериализма» у Каутского — объединения всех империалистических противников против своих «Других», — которое удивительным образом подходит для описания нашей нынешней ситуации).

Иными словами, первый постмарксизм на основании внутренней социальной обстановки пришел ко вполне убедительным выводам о неадекватности традиционной марксистской проблематики, но при этом он оставил без внимания расширение международных или глобальных рамок, которое сыграло важную роль в изменении этой обстановки. (Ленинское представление о разложении пролетариата «первого мира» вследствие процветания, вызванного империализмом, позволяет исправить некоторые недостатки этой ограниченной точки зрения).

Но случай бернштейновского ревизионизма дает нам возможность по-новому взглянуть на наши собственные современные постмарксизмы, которые точно так же стали появляться тогда, когда одна стадия капитализма (теперь уже империалистическая) начала сменяться другой, связанной с новыми технологиями и мировой экспансией. По сути, начало ядерной эпохи и распространение кибернетики и информационных технологий на всех уровнях социальной жизни — от повседневности до организации промышленности

и ведения войны — совпадает с распадом старой колониальной системы и всемирной деколонизацией и возникновением системы огромных транснациональных корпораций, связанных главным образом с тремя центрами новой миросистемы — США, Японией и Западной Европой. Экспансия в эту третью или постсовременную (*postmodern*) эпоху капитализма принимает форму не географического расширения и территориальных притязаний, а, скорее, более интенсивной колонизации старых областей капитализма и модернизации новых, насыщения товарами и поразительной постгеографической и постпространственной информационной одновременности, которая сплетает куда более тонкую, плотную и всеобъемлющую паутину, чем можно было бы себе представить при старых сигнальных каналах телеграфа, газет и даже самолетов и радио.

Исходя из этого, можно утверждать, что, как и ревизионизм Бернштейна, который представлял собой симптом и следствие социальных изменений, связанных с организацией классического империализма — или, иными словами, отражение самих модернизма и модернизации, — современные проявления постмарксизма находят свое обоснование в невероятных преобразованиях социальной реальности при позднем капитализме: от «демократизации», вытекающей из появления множества «новых социальных движений» и субъективных позиций, через бесконечное расширение медиапространства (если не «публичной сферы» в классическом смысле слова) до всемирной реструктуризации промышленного производства, парализовавшей рабочие движения и поставившей под вопрос само понятие локального (проживания всей жизни в одном месте с одной работой или карьерой в относительно стабильной институциональной и городской обстановке). Вследствие изменений на этом уровне в различных вариантах постмарксизма появились утверждения о ненужности устоявшейся идеи социального класса, о несостоятельности старой партийной политики и ложности классической идеи революции как «захвата власти», об устарелости понятий производства в эпоху массового потребления и теоретическом распаде трудовых теорий стоимости перед лицом информационных потоков. Я уже не говорю о более сложной для понимания философской полемике относительно кажущегося теперь уже дискредитированным «гегельянского» понятия противоречия в мире чистых внешних различий; о стигматизации идеи цели как очередной буржуазной идеи прогресса (обе идеи неуместны при наступлении конца истории и в мире, где серьезное отношение ко времени и всевозможные идеи будущего кажутся устаревшими); о полемике относительно понятий идеологии и ложного сознания (а также — более тактично — относительно самого фрейдовского бессознательного) в потоке делезовских изменений, наполненном всевозможными децентрированными субъектами.

Очевидно, что каждая из этих насущных тем способна сообщить нам нечто важное о сегодняшних изменениях в общественной жизни, если считать ее концептуальным симптомом, а не особенностью некоей новой постмодернистской доксы. Но также должно быть очевидно, что, как и в случае с критической точкой зрения Бернштейна, свежий современный взгляд достигается ценой тотальности или самих глобальных рамок, сдвиги которых образуют невидимые, но действующие координаты, позволяющие оценивать локаль-

ные эмпирические явления. Ибо возникновение новых внутренних — экзистенциальных или эмпирически-социальных — явлений можно понять только в рамках третьего этапа развития — новой миросистемы — капитализма: и сегодня, в заметно расширившейся миросистеме, это стало намного более очевидным, чем во времена Бернштейна, когда «империализм» все еще можно было считать чем-то внеположным по отношению к внутреннему национальному опыту. Сегодня, как никогда прежде, стало очевидно, что поздний капитализм определяется одновременно глобальным развитием и его внутренними последствиями: по сути, первое теперь, по-видимому, оказывает обратное воздействие на последние, как тогда, когда мы говорим, что «внутренний третий мир» и процесс внутренней колонизации пожирают сам «первый мир». В этом случае точка зрения Маркса-теоретика мирового рынка (особенно в «Экономических рукописях 1857–1859 годов») не только способна заменить собой нынешние разновидности постмарксизма, но и стать важной составляющей анализа более ранних стадий капитализма.

И вместо переоценки разрывов и отсутствия преемственности в капитализме здесь предлагается диалектическое представление о его целостности: ибо именно взаимосвязь с более глубокой структурой приводит к эмпирическим различиям, создаваемым при конвульсивном расширении структуры на каждом новом этапе развития.

II

Что касается («кончины») социализма, в отличие от советского коммунизма как исторического развития, то следует сказать несколько слов о его необходимости в качестве политического, социального и воображаемого идеала (который — в случае своей гибели — неизбежно должен возродиться); в качестве программы на будущее, которая служит утопическим образом и пространством радикальной и системной альтернативы нынешней социальной системе. Особенности, которые принято считать «социалистическими» в общем смысле слова, по-видимому, появляются и исчезают в предсказуемом ритме: поэтому только кажется парадоксом, что именно тогда, когда «советская модель» оказалась полностью дискредитированной, американская общественность впервые за сорок лет всерьез задумалась о возможности некоей более социальной медицины. Что касается национализации, то, несмотря на проигрыш в «дискурсивной борьбе» и неприятие обществом этого лозунга наиболее ортодоксальных социалистов, нельзя исключать ее повторного появления в совершенно непредсказуемых обстоятельствах и контекстах (хотя кажется возможным, что правительство правых или деловых кругов сочтет стратегическую национализацию полезной для сокращения собственных издержек). Во всяком случае осуждение государственного вмешательства сторонниками рынка вызывает насмешливую улыбку на фоне неоспоримого авторитета японской модели, масштабы государственного вмешательства в которой настолько велики, что в целом такая система может быть названа управляемым капитализмом. Между тем, после эпохи Рейгана и Тэтчер, ознаменовавшейся таким разгулом частного бизнеса, которого не наблюдалось со времени золотого века капитализма в прошлом столетии, теперь, по-видимому, начал

ся возврат к минимальным социальным обязательствам, которые должны быть признаны государством в каждом развитом индустриальном обществе; и теперь европейская и, в частности, восходящая к Бисмарку германская традиция государства всеобщего благосостояния, которая отошла в тень в ходе полемики времен «холодной войны», судя по всему, вновь начинает обсуждаться, невзирая на риторику приватизации, поддерживаемую англо-американским капиталом.

В то же самое время, несмотря на экспериментальные идеи клинтоновской администрации относительно частных инвестиций в экологические отрасли и технологии, кажется еще более очевидным, что экологическая реформа может быть проведена только государством и что рынок структурно не соответствует грандиозным переменам, которые требуют не только контроля и ограничения существующих промышленных технологий, но и революции в повседневной жизни и привычках потребления, необходимой для введения и соблюдения таких ограничений. Иногда полагают, что экология несовместима с социализмом как политической целью, особенно тогда, когда последний использует риторику модернизации и ставит перед собой прометеевскую задачу покорения природы (которая в определенной степени восходит к самому Марксу). Тем не менее, многие из тех, кто разочаровались в социализме, перенесли свою политическую практику в экологическую область, поэтому иногда складывается впечатление, что «зеленые» движения приходят на смену различным левым политическим движениям в качестве основной оппозиционной силы в развитых странах. Во всяком случае необходимо признать зависимость экологических политических целей от существования социалистических правительств: эта мысль вполне логична и не имеет ничего общего с нанесением вреда природе и экологии коммунистическими правительствами на Востоке, не считавшимися ни с чем в своем стремлении к быстрой модернизации. Можно *a priori* утверждать, что экологические преобразования настолько дороги, требуют столь серьезных технологий и столь широкого проведения в жизнь, что могут быть осуществлены только сильным и решительным (и, может быть, даже мировым) правительством.

Между тем, следует также понимать, что проект, по иронии судьбы получивший на Востоке название «перехода к капитализму», ничем не отличается от западного «дерегулирования» и, отвергая все формы социального обеспечения, требует систематического разрушения последних остатков сетей безопасности. Но жители социалистических стран не знали об этом: приняв за пропаганду немногие действительно правдивые вещи, которые правительство рассказывало им о Западе, они явно считали, что у нас есть некое подобие их собственной сетки безопасности, их медицинских и социальных служб и системы государственного образования и при этом имеются товары, новые технические приспособления, аптеки, супермаркеты и видеопрокаты, которых они так жаждали: кажется, они не понимали, что обладать последним — товарами — можно было только при условии систематического отказа от первого, а именно — социальных служб. Этому основному заблуждению, заставившему жителей Восточной Европы трагикомически ринуться в сторону рынка, также было чуждо сознание различия между простой доступностью товаров и безумием консюмеризма, некоего подобия коллективной зависимо-

сти от множества культурных, социальных и индивидуальных последствий, сравнимого — в качестве поведенческого механизма — только с очень похожей зависимостью от наркотиков, секса и насилия (которой оно, как правило, и сопровождается в действительности). Конечно, ничто человеческое нам не чуждо; и, возможно, человеческому обществу исторически важно и нужно пройти через опыт консюмеризма как образа жизни, чтобы позднее более осознанно избрать вместо него нечто радикально иное.

Следует понимать, что черт, перечисленных выше — национализации, разного рода государственные вмешательства, — едва ли достаточно для определения сути социалистического проекта: но когда даже государство всеобщего благосостояния подвергается нападкам со стороны новой риторики мирового рынка и когда людей поощряют ненавидеть большое правительство и грезить о частном решении социальных проблем, социалисты должны объединиться с либералами (в американском центристском смысле слова) для защиты большого правительства и ведения своей дискурсивной борьбы с такими нападками. Государство всеобщего благосостояния было важным достижением; его внутренние противоречия были противоречиями самого капитализма, а не свидетельством неспособности решения социальных проблем; во всяком случае, там, где оно подвергается разрушению, важно, чтобы левые решительно выразили недовольство простых людей утратой этих достижений и этой сетки безопасности, а не играли на руку рыночным риторам. Большое правительство должно быть позитивным лозунгом; необходимо разрушить стереотипы насчет бюрократии и взглянуть на нее с точки зрения заслуг и классовой позиции, которую она занимала в определенные периоды развития буржуазного общества (и при этом напомнить людям о том, что самой многочисленной бюрократией является бюрократия крупных корпораций). Наконец, важно отказаться от использования частных или личных аналогий — чей-то личный месячный доход и бюджет, «жизнь не по средствам» и так далее — для понимания государственного долга и бюджета. Проблема выплаты процентов по огромному государственному долгу — это проблема мировой валютной системы в целом, поэтому рассматриваться и анализироваться она должна именно с такой точки зрения.

Но это только необходимые ответные стратегии в нынешней дискурсивной борьбе, направленные на воссоздание обстановки, при которой может быть выработано собственно социалистическое видение: ибо многие из этих кажущихся левыми или социал-демократическими предложений — например, гарантированный минимальный годовой заработок — вполне могут отвечать целям бонапартистских или даже фашистских правых. Тем больше оснований подчеркивать отсутствие иного в простой ответной стратегии, то есть неспособность назвать альтернативу, назвать решение, то есть «назвать систему». Речь идет не только о систематичности социалистических решений, взаимосвязи всех мер, предложенных в рамках более широкого проекта, которые отличают революцию от постепенных реформ; речь идет также о четком проведении разделительной линии между подлинно левым движением и левоцентристской или реформистской политикой при описании социализма.

В важной книге об американских левых («Неоднозначное наследие») Джеймс Вайнштейн показывает, что при всей своей несхожести, практиче-

ски полном отсутствии связей друг с другом и раскрытии в современную (*modern*) эпоху — Социалистическая партия Юджина Дебса перед Первой мировой войной, Коммунистическая партия Америки в 1930-х годах и «новые левые» в 1960-х годах, — у всех них был один общий недостаток, а именно — убежденность в невозможности употребления слова «социалистический» для американцев и в том, что цели, даже те, что привлекают голоса избирателей, всегда следует считать либеральными или реформистскими по своей сути и направленными на то, чтобы избежать отчуждения от американских масс. Поэтому даже после их достижения и завоевания широкой популярности такие частные цели всегда остаются открытыми для присвоения центристскими движениями; и, по сути, как в знаменитой карикатуре Жюль Файффера, основная задача американских левых состоит в том, чтобы изобретать новые идеи для пробуждения воображения и пополнения политического арсенала эклектичных умеренных движений (чаще всего — самой Демократической партии), несостоятельность которых обнаружится вскоре после исчезновения тайного источника их вдохновения. Но меры, предпринимаемые социал-демократией или государством всеобщего благосостояния, не смогут привести к политическому развитию социализма, если они не будут заявлены именно в этом ключе: социализм — это тотальный проект, различные составляющие которого должны быть переданы аллегорически, как и многие проявления и выражения его основного духа, и в то же время они служат своим собственным оправданием с точки зрения собственной локальной целесообразности. Коллективный проект всегда действует на уровнях микромира и макромира, частной или эмпирической проблемы при всей ее острой насущности и более широкой национальной или международной картины, причем микрополитическое рассматривается здесь с точки зрения общей стратегии партии или альянса.

Тем не менее граница между критической, или ответной, и позитивной, или утопической, ориентированной на созидание стратегиями проходит и на микро-, и на макрополитическом уровне: дискурсивная борьба и дискредитирование гегемонистской рыночной модели оказываются бесполезными при отсутствии пророческого видения будущего, радикальной социальной альтернативы, причем проблема сегодня усугубляется старыми «современными» (*modern*) или «модернистскими» образами социализма или коммунизма (а также нынешним появлением — в пустотах, оставленных последним, — множества микрополитических и анархистских заменителей).

Социализм, разумеется, всегда означал защиту человека от рождения до смерти — базовую сетку безопасности, которая обеспечивает основы экзистенциальной свободы, защищая человека от практической или материальной нужды, и основы подлинной индивидуальности, позволяя людям жить без страха за свое самосохранение (*ohne Angst leben*, как выразился Адорно, наиболее глубоко разработавший эту тему в философском отношении, применительно к музыке) и не столь широко распространенных, но столь же парализующих страхов относительно нашей слабости при наличии почти что врожденной заботы о других (как выразился Оскар Уайльд в «Душе человека при социалистическом строе», «в громадном же большинстве люди губят свою жизнь нездоровым, чрезмерным альтруизмом, — в сущности, они принуждены губить ее»). В этом смысле социализм означает гарантии материальной

жизни: право на бесплатное образование, здравоохранение и пенсию, право на объединения, не говоря уже о низовой демократии в самом широком смысле этого слова (о которой Маркс говорил в своих лекциях о Парижской коммуне); право на труд — что уже не мало с сегодняшней социальной и политической точки зрения, когда огромная и постоянная структурная безработица становится необходимым условием позднекапиталистической автоматизации; и, наконец, право на культуру и «досуг», свободный от формальных стереотипов и стандартов нынешней коммерческой «массовой культуры».

Такое видение, в свою очередь, идеологически занято и искажено внешне несовместимыми крайностями, с одной стороны, экзистенциальной или индивидуалистической точки зрения (отчуждение личности при позднем капитализме, рубцы, оставленные на индивидуальной субъективности), а с другой — коммуитаризма, коллективистская точка зрения которого берется на вооружение сегодня либеральными и даже правыми идеологами. С одной стороны, скандальное «право на лень» Лафарга, а с другой — утопии небольших крестьянских общин или даже индейских племен — таковы лишь немногие темы, вызывающие разногласия у левых в связи с возможностью представления социализма.

И понятно, что этот страх перед утопией влечет за собой мрачные предчувствия насчет того, что социализм потребует самоотречения, что воздержанность в отношении товаров — это всего лишь название более общего пуританства и систематической добровольной неудовлетворенности желаний (по этому поводу еще Маркс говорил, что капитализм занимается подделкой последних и представляет собой беспрестанно работающую машину по производству разнообразных новых и непредсказуемых желаний). В этом отношении также важны размышления Маркузе, впервые после Платона поставившего вопрос об истинных и ложных желаниях, истинном и ложном счастье и наслаждении: примечательно, что отрицание у Маркузе принимает политическую и антиинтеллектуальную форму (кто тот правитель-философ, который должен развести истину и ложь в этих вопросах?). Парадоксы синхронности позволяют — но только извне — понять, насколько трудно бывает отказаться от компенсаторных желаний и опьянения, создаваемых нами самими для того, чтобы сделать настоящее пригодным для жизни. Конечно, дилемма решается не в результате споров о человеческой природе, а в результате коллективного решения и коллективного стремления жить иначе: тогда свобода, неизбежно предполагаемая таким коллективным выбором, может быть соблюдена только в случае признания личной свободы на самоустранение или обособление, решительное неприятие взглядов большинства. Между тем, в основе слабых и сильных сторон марксизма, связанных с его акцентом на экономическом (в самом широком и общем смысле слова), всегда лежали по сути своей политические соображения и заботы: я склонен считать, что влияние нынешней риторики свободного рынка связано с использованием образа рынка как символической политической фантазии, а не конкретной экономической программы.

Таким образом, эта особая боязнь социализма — либидинальный страх, страх перед подавлением — неизбежно переходит в более открытую политическую обеспокоенность властью как таковой. Бакунин был не первым,

кто связал социализм с политической тиранией и диктатурой (этот упрек уже высказывался утопическими социалистами), а Витфогель не последним, хотя его книга «Восточный деспотизм», сравнивающая Сталина с божественными императорами ранних гидравлических цивилизаций, приобрела особую популярность в правой пропаганде. Возможно, мало просто сказать, что правительство и государство — независимо от своей политической формы — всегда по определению обладают монополией на насилие. И все же этот упрек, по-видимому, не вполне согласуется с нынешним правым представлением о неуправляемости реальной демократии и о том, что потребности социализма вероятнее всего приведут социальную машину в состояние застоя. К этому проявлению непоследовательности можно добавить еще одно, историческое: а именно почти единодушное согласие с этой точкой зрения (что социализм означает абсолютное государство) после краха этой государственной структуры и этого особого политического порядка.

Но идее социализма и утопии почти неизбежно, особенно в условиях рынка и временной гегемонии рыночной риторики, придется пройти через идеологическое противопоставление командного общества индивидуалистическому или атомизированному, децентрализованному обществу «невидимой руки». Даже Роберт Хейлбронер в своей книге «Марксизм: за и против», вышедшей до 1989 года, говорит о жизненной важности этого альтернативного представления с точки зрения коллективного выбора и отдания предпочтения сравнительно фундаменталистскому образу жизни, который, подобно так называемому исламскому фундаментализму в стереотипных представлениях о нем, пытается отгородиться от мирового рынка посредством своеобразного этического пуританства и либидинального самоотречения. В этом случае большое значение придается возможности коллективного выбора, независимо от цены, которую необходимо заплатить для достижения иной социальной жизни; однако в то же самое время здесь присутствуют глубокие бессознательные страхи перед самой утопией и подтверждается мысль о том, что всякое изложение социалистических взглядов сегодня должно содержать в себе — помимо диагноза патологий позднего капитализма — страх перед утопией.

Что касается стигматизации планирования в образе «командного общества», либидинально нагруженным образами сталинизма и более прочными стереотипами относительно «восточного деспотизма», восходящими к истории древнего мира (противостояние государству у древних евреев и греков), то в этом случае можно отталкиваться от попыток современных сторонников социализма представить великий коллективный проект с индивидуалистической точки зрения в виде широкого социального эксперимента, направленного на развитие индивидуальной деятельности и пробуждение подлинно современного (*modern*) индивидуализма, — в виде освобождения индивидов через коллектив и осуществления новых политических возможностей, а не некоего зловещего социального отката к доиндивидуалистической и репрессивной архаике: и здесь в качестве сильного идеологического контраргумента может быть приведена, например, великая досталинская советская «культурная революция».

Но выступление Хейлбронера в защиту социализма полезно лишь в той степени, в которой в нем придается особое значение природе «утопии» как

альтернативной социальной системе, а не как конечному итогу развития всех социальных систем, и подчеркивается структурная необходимость наличия во всех социальных системах и способах производства механизмов, которые делают существующую систему отношений невосприимчивой к разрушительным или влекущим за собой коренные преобразования новшества (так, например, одно из направлений в антропологии — кстати говоря, антимарксистское — показывает, каким образом небольшим племенным обществам удается структурно предотвращать сосредоточение богатства и власти и, в конечном итоге, избегать создания государства).

В частности, здесь выдвигается предположение о системной несовместимости рынка и социализма, которое подтверждается разрушительным воздействием рынка в Восточной Европе, связанным не только с распадом социальных отношений после падения коммунистического государства, но и с надстроечным разложением вследствие влияния фантазий о товарах и западной массовой культуры, предшествовавших этому краху и подготовивших его. К изложенной Поланьи критике губительного влияния рынка сегодня можно прибавить пустоту консюмеризма и социальных и культурных основ товаризации, что, несомненно, предполагает в качестве необходимого условия всякой социалистической системы создание культуры, в какой-то степени нейтрализующей такое влияние, но не в результате цензуры и изоляции, а в результате живого и позитивного коллективного выбора. В то же самое время следует подчеркнуть, что насилие и физическое подавление, которое имело место в истории уже не существующих социалистических обществ (и, в частности, коммунистических государств), всегда предпринималось в ответ на реальные угрозы извне, в ответ на враждебность и насилие правых и на внутреннюю и внешнюю подрывную деятельность (прекрасной иллюстрацией которой по-прежнему служит американская блокада Кубы).

С философской точки зрения правым можно возразить, что «свобода выбора» потребительских товаров (к тому же весьма преувеличенная жрецами «гибкого» и «постфордистского» распределения) имеет мало общего со свободой людей определять свою судьбу и участвовать в создании своей коллективной жизни, то есть с возможностью освободить свое коллективное будущее от слепой необходимости и детерминизма истории: и в этом смысле капитуляция перед пресловутыми «рыночными механизмами» невидимой руки представляет собой отказ от целей человеческой свободы, а не какое-то удивительное раскрытие человеческих способностей (проблема, таким образом, снимается после осознания того, что такой идеал и идеальный свободный рынок в истории никогда не существовали и существовать не будут).

Картина начинает выглядеть несколько иначе при рассмотрении ее с теологической или метафизической точки зрения, например, первородного греха у Нибура или гордыни, приписанной Эдмундом Берком якобинскому проекту: здесь речь идет об обреченности самой человеческой природы и пагубности утопического как такового. И этот язык, по-видимому, получил широкое распространение у постсоциалистических интеллектуалов на бывшем Востоке, связавших пагубность всего политического — от большевизма до Сталина — с греховностью утопического стремления преобразовать общество; к сожалению, решение об отказе от таких преобразований равнозначно простой пере-

даче возможности принятия решений кому-то другому (сегодня, как правило, иностранцу). Что касается убеждения относительно греховности человеческой природы, то, несмотря на возможность эмпирического доказательства того, что люди по своей природе порочны и злы и что от них нельзя ждать ничего хорошего, следует помнить о том, что оно также связано с идеологией (и, в частности, с моральной и религиозной идеологией). Несмотря на уязвимость сотрудничества и достижений коллективного этоса перед соблазнами частного потребления и алчности и разрушительным воздействием циничной *Realpolitik*, нельзя не признать того, что иногда они все же существуют.

Между тем, запоздавая «мудрость» освобождения от иллюзий в духе Франсуа Фюре выражается в этосе законности и правопорядка, который у меня возникает соблазн назвать неоконфуцианством: «почтение» даже к самому непривлекательному авторитету и выбор в пользу самого недостойного государственного насилия вместо по-человечески понятных форм хаоса и бунта.

Речь идет не только о том, что насилие всегда начинают правые, запускающие бесконечную цепную реакцию ответного насилия, которого с избытком хватало в недавней истории; важно также понимать возможность того, что разрушительные страсти крупных правых движений — от фашизма до национализма, а затем и этнического и фундаменталистского фанатизма — в сущности представляют собой замещающие образования, причем не самих основных желаний; они возникают из недовольства и горького разочарования провалом утопических устремлений, а также из вытекающей отсюда глубокой убежденности в том, что социальный порядок с более искренним сотрудничеством невозможен по своей сути. Иными словами, будучи замещающими образованиями, они отражают ситуацию, когда — независимо от причин — кажется, что революция потерпела неудачу; и теперь самое время обратиться к близкой, но все же отдельной теме.

III

Критика самого понятия революции занимает главное место в большинстве современных разновидностей постмарксизма (как, впрочем, и у Бернштейна), и на это есть свои теоретические и политические причины. Предположим, возможно, не вполне справедливо, что в основе философских споров по этому вопросу — споров, которые ведутся вокруг понятий тотальности и цели, понятий централизованного и децентрализованного субъекта, истории и повествования, скептицизма и релятивизма или политических «убеждений» и пристрастий, ницшеанского бесконечного возвращения того же самого и возможности представления радикальных альтернатив — чаще всего лежат политические причины (понимая, что наличие у таких философских альтернатив более глубоких и идеологических причин не исключает необходимости обсуждения их на чисто философской основе). На мой взгляд, понятие революции имеет два несколько различных значения, которые заслуживают того, чтобы о них помнили, особенно в нынешней обстановке. Первое значение связано с природой самих социальных изменений, которые, как я покажу, неизбежно являются системными; второе значение связано с представлением о принятии коллективных решений.

Но к такому обсуждению нельзя переходить до тех пор, пока не будут решены концептуальные вопросы, связанные с множеством образов, которыми они так часто были окружены. Это связано не только с нежелательной «живучестью видения» старых стереотипных картин революций, которые имели место на самых ранних этапах модернизации, не говоря уже о переходе от феодализма: это не значит, что история таких революций — от Великой французской революции до ее английской предшественницы (или даже от гуситских или крестьянских войн, не говоря уже о восстании Спартака) вплоть до китайской и кубинской революций, не содержит важных исторических и диалектических уроков, если не считать волнующих рассказов, которые по-прежнему остаются более интересными, чем учебники истории большинства стран, не говоря уже о романах. Дело не только в очевидном, а именно — что коренные социальные преобразования в условиях более полной модернизации (не говоря уже о постмодернизации) неизбежно приведут к возникновению совершенно иных проблем и совершенно иной коллективной деятельности. Скорее, нам нужно избегать этих образов, потому что они ограничивают политическое воображение и делают возможными надуманные рассуждения, направленные на дискредитацию понятия революции, например, на том основании, что постсовременный город или, скорее, коммуникативное расползание постгорода делает невозможным использование уличных толп для стратегического политического или революционного вмешательства. Однако в действительности сам идеологический образ толпы восходит к славным революционным «денькам» Великой французской революции и появляется вновь и вновь, как кошмар, почти у всех великих буржуазных романистов следующего столетия — от Манцони до Золя, от Диккенса до Драйзера, так что читатель иногда может ощутить, что опасениями насчет собственности и почти физического нарушения интимности пользуются и злоупотребляют, по сути, в политических целях, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят, когда ослабевает социальный контроль. Но если это так, то освобождение понятия революции от такой пагубной идеологической образности кажется особенно важным.

На самом деле, здесь мы также наблюдаем то, о чем уже говорилось выше, а именно живучесть политических страхов — точнее, неизменность мотива власти — в такой аргументации. Даже не будучи стигматизированным в качестве такового (например, в наиболее тонком философском анализе, предложенном Лаклау и Муфф и их последователями, большинством так называемых постмарксистов), представление о революции как насилии, вооруженной борьбе, силовом перевороте, столкновении вооруженных людей, жаждущих кровопролития, всегда лежит в основе спора об этом понятии. Такое представление, в свою очередь, объясняет привлекательность того, что можно было бы назвать стихийным троцкизмом, то есть настаивания на необходимости «вооруженной борьбы» для совершения социалистических преобразований, кажущегося не имеющим отношения к сути дела и ненужным. Скорее, этот тезис должен быть изложен иначе: а именно — что другая сторона прибегнет к силе, когда на самом деле появится угроза системе, так что возможность применения насилия становится чем-то вроде подтверждения подлинности данного «революционного» движения в глазах гегелевской совы Минервы

или беньяминовского ангела истории, которые, в сущности, ничем не отличаются друг от друга. Это приводит к некоему подобию парадокса предопределения и выбора в богословии: выбор насилия — это определенное знамение, и понимание его всегда происходит со временем, его невозможно предусмотреть заранее, как тогда, когда социал-демократия тщательно просчитывает свой курс так, чтобы не перейти никому дорогу. Но если этот курс приведет к по-настоящему системным изменениям, то неизбежно почти естественным образом возникнет сопротивление, но не потому, что оно было целью людей, занимавшихся разработкой этого курса. Таким образом, здесь, как и в изложенной Вайнштейном критике стратегий американских левых, о которой говорилось ранее, действует своеобразный политико-экономический принцип Гейзенберга: по-видимому, нам не суждено понять диахронические изменения с нашей синхронической и системной точки зрения; история всегда происходит неожиданно; классовые реалии, обнаруживаемые только ретроспективно, предугадать невозможно.

Попытка осмысления (или «отвержения») революции, таким образом, неизбежно связана с двумя проблемами: проблемой системы и проблемой класса (их смешивал и сам Маркс).

Аргумент относительно системы, а именно — что все в обществе, в конечном итоге, связано со всем и что в долгосрочной перспективе невозможно провести и малейшие реформы, не изменив всего, — этот аргумент чаще всего приводился философами относительно весьма стигматизированного понятия тотальности. Те философы прошлого, для которых понятия системы и тотальности были важным завоеванием и основным оружием в борьбе с банальностями эмпиризма и позитивизма и вырождением рационального в коммерческие и прагматические овеществления, были бы поражены современными превращениями этих совершенно нефилософских эмпирических и антисистемных установок и представлений в героические формы противодействия метафизике и утопической тирании, короче говоря, самому Государству. «Война против тотальности» кажется чем-то неуместным, когда она ставит под вопрос интеллектуальные системы (например, марксизм), для которых сам образ социальной тотальности составляет основную проблематику: стремление к тотализации и достижению образа тотальности во всей ее сложности — этот процесс вряд ли заслуживает того, чтобы его называли тоталитарным, связывая его с определенной партийной структурой и массовой политикой, как зачастую поступают некоторые критики.

Во всяком случае, в нынешнем контексте, возможно, следует прекратить настаивать на выведении понятия тотальности или системы из практического, социального и политического опыта — вопрос, который обсуждался к тому же не так уж часто. Ибо понятие социальной системы выводится прежде всего из несовместимости различных социальных мотивов или ценностей и, в частности, логики наживы и стремления к сотрудничеству. Одно стремится вытеснить другое; и это делает проблематичной даже самую тщательно контролируруемую «смешанную экономику». То же самое можно сказать иначе, обратив особое внимание на огромную моральную и коллективную энергию, которую необходимо мобилизовать не только для совершения фундаментальных преобразований, но и для социального конструирования новых коллективных

форм производства. Такая моральная и политическая страсть, которую всегда очень трудно поддерживать и которая согласуется с тем, что мы называли идеалом социализма (в отличие от его непосредственных локальных задач), сама по себе в корне несовместима со стремлением к наживе и другими связанными с ним ценностями. Наличие таких несовместимых вещей свидетельствует прежде всего о том, что система, тотальность или способ производства относительно едины и однородны и не могут в течение продолжительного времени существовать наряду с другими системами и способами производства. Так что понятие революции связано с этим особым прочтением истории; предполагаемое самим понятием системы, оно обозначает процесс, который невозможно теоретически представить заранее и вследствие которого одна система (или «способ производства») в конечном итоге заменяет другую.

Но, возможно, структура этого понятия смешивается с его представлением и продолжает вызывать к жизни эти устаревшие образы революционного «захвата власти», уже критиковавшиеся нами, порождая, в свою очередь, новую бинарную оппозицию или апорию, а именно — антитезу демократического и выборного пути к власти (следует добавить, что сегодня, по-видимому, в последний верят не больше, чем в первый). Но у нас есть и другие примеры того, что революция может оказаться тем, что выходит за рамки этой оппозиции: на ум приходит Чили времен Альенде, и сейчас самое время избавить этот исторический эксперимент от пафоса поражения и инстинктивных либидинальных страхов относительно подавления. Также самое время указать постмарксистам на ложность представления о постоянстве и моменте («революционном» или каком-то ином) и выступить с критикой подмены «процесса» неким ницшеанским бесконечным потоком неоднородного времени. Победы левых на выборах — это ни пустые социал-демократические эксперименты, ни случаи бесспорного овладения властью: скорее, они свидетельствуют о постепенном расширении демократических требований, то есть предъявлении все более радикальных требований к сочувствующему правительству, которое, в свою очередь, подчинившись такому развитию, должно теперь стать более радикальным, если, конечно, оно не отдаст предпочтение призывам к порядку. Революционный процесс в этом смысле представляет собой новое правовое устройство, при котором угнетаемые народные группы постепенно перестают молчаливо соглашаться со своим подчиненным положением и решаются высказаться — поступок, который может простирается, как в революционной Чили при Альенде, от новых законопроектов до захвата фермерских земель; демократия неизбежно означает такое высказывание, которое также можно считать наиболее истинной формой создания новых потребностей (в противоположность консюмеризму). В этом случае он явно представляет собой необъятный и необузданный процесс, который грозит устранением всех существующих ограничений и порождает новые разновидности политических страхов, о которых мы уже говорили (и мрачной иллюстрацией которых служит судьба режима Альенде). Но этот процесс вовсе не противоречит демократии (в отличие от республиканских институтов), с точки зрения которой могут быть переписаны все великие революции.

При всей подозрительности, с которой сегодняшние левые относятся к таким представлениям о систематичности, стоит отметить, что они уже

давно получили признание у правых при рассмотрении так называемого «перехода к капитализму». Ибо сами пропагандисты рынка не устают напоминать о несовместимости рыночной системы в целом с какими-то остаточными или производными чертами других социально-экономических систем. Излишне упоминать об агонии «дерегулирования» в бывших социалистических странах: просто вспомним беспрестанное давление, которое Соединенные Штаты оказывают на Канаду с тем, чтобы она покончила с социальной медициной, на Европу в целом, чтобы она покончила с «нечестной конкуренцией» структур государства всеобщего благосостояния, и практически на всех с тем, чтобы отказаться от защиты национальных форм культурного производства — и получим живую картину того, как «более чистой» рыночной системе приходится искоренять все отличное от нее самой, чтобы продолжить свое существование. Конечно, такие требования, которые в действительности предъявлялись американской внешней политикой повсюду после окончания Второй мировой войны, прежде чем достигнуть своего пароксизма в годы правления Рейгана и создания НАФТА/ГАТТ, предполагали такое же системное по своей сути представление об обществе и способе производства, которое обычно связывается с совершенно иными идеологическими представлениями о революции и тотализации.

Возможно, это просто свидетельствует об утопической природе обычной рыночной риторики: то есть не приходится сомневаться в том, что это просто означает, что рынка, о котором говорят нынешние консерваторы и средства массовой информации, никогда не существовало и не будет существовать. С другой стороны, последствия этой систематичности вполне реальны; на ум приходит рассказ Джоэла Чандлера Харриса о пациенте, столкнувшемся с удивительными трудностями при удалении своего больного зуба. Его безуспешно пытались вырвать цирюльник и кузнец: наконец, ушлomu дантисту нового типа при помощи хитроумных новейших инструментов удалось добраться до коренного зуба, который, однако, был связан с челюстной костью и далее с позвоночником, грудной клеткой, тазом, большой берцовой костью и, в конечном итоге, с большим пальцем ноги; так что ко времени, когда зуб, наконец, был вырван, пациент лишился всего своего скелета, и его пришлось отправлять домой в бумажном пакете. Знание социальной анатомии вполне способно помочь нам избежать этой печальной судьбы (которая, на мой взгляд, может служить аллегорией рейгановского дерегулирования).

Другое значение понятия «революция» можно разъяснить гораздо быстрее, ибо здесь революционный процесс в целом понимается как сжатое выражение обретения социальным коллективом самой возможности практики коллективного принятия решений, самоопределения и выбора отношения к природе. Революция в этом смысле оказывается тем моментом, когда коллектив возвращает к себе народный суверенитет (которого у него в исторической реальности на самом деле могло никогда и не быть), когда народ получает возможность изменить свою судьбу и тем самым установить определенный контроль над своей коллективной историей. Но тогда становится понятно, почему сегодня понятие революции пришло в упадок, ибо, как уже отмечалось, в современной социальной истории трудно найти времена, когда люди острее ощущали бы свое бессилие: времена, когда сложность социального порядка

казалась бы совершенно неприступной и совершенно непостижимой, а существующее общество — наделенным невероятной прочностью.

В действительности, утверждается, что именно этот квантовый скачок в систематичности в эпоху постмодерна или позднего капитализма — ускорение упомянутых научных, технологических и кибернетических процессов — отражает смехотворность масштаба человеческой деятельности (неважно, коллективной или индивидуальной): однако кажется более разумным сохранить масштаб и вынести за скобки саму проблему технологии. Ибо вполне вероятно, что такое замешательство и вызванное им ощущение беспомощности (а также вытекающие отсюда паралич действий, апатия и цинизм руководителей и последователей) сами по себе связаны с конвульсивным расширением системы, которая теперь заставляет нас столкнуться с новыми, прежде неизвестными измерениями и величинами и с новыми географическими процессами (и временными, поскольку время сегодня пространственно и некая новая информационная одновременность должна быть заново пересмотрена в наших категориях степени и промежутка), для осмысления которых у нас нет необходимых средств.

Одним из наиболее поразительных следствий этого нового масштаба системы оказывается неуместность прежних категорий деятельности и, в частности, понимание того, что понятие социальных классов устарело или что класс в старом (марксистском) смысле слова перестал быть значимым, если и не исчез вовсе. Такое понимание уже соединяет в себе различные уровни теории и эмпирической социологии и требует более сложного ответа. Глобализация, которая привела к кризису национального производства и институтов национальной рабочей силы, вполне может привести к возникновению международных форм производства с соответствующими классовыми отношениями, причем в доселе немислимом масштабе, формы и политические возможности которых невозможно не только предсказать, но даже представить, не говоря уже о том, чтобы просчитать. Необходимо уделить особое внимание неизбежности этого нового процесса формирования глобального класса и трудностям репрезентации: организмы, которым отведено время человеческой жизни, не только не в состоянии оценить геологическую скорость формирования такого класса (как уже было сказано, мы существуем одновременно в двух этих несопоставимых временных измерениях, которые никак не связаны друг с другом), но и выработать схему, которая позволила бы нам начать картографирование этой недоступной реальности (что можно сравнить с проблемами, возникающими при переходе от ограниченной или воспринимаемой части божественного пространства к настолько обширным космологиям, которые выходят далеко за рамки наших ментальных категорий).

На самом деле новые категории репрезентации (или обновленные и преобразованные старые, пользовавшиеся дурной репутацией) — в частности, все, что связано с проблемой аллегории и многомерных форм бессознательного означивания, — могут служить подтверждением этого тезиса и свидетельством трудности применения старых средств к более масштабным реалиям. Но было бы удивительно, если бы в эпоху, когда международный бизнес переживает процесс реорганизации и складывания новых отношений поверх прежних национальных границ, а технологии связи, обмена и создания сетей

становятся неизбежными и приводят к множеству непредсказуемых последствий, наемные рабочие из различных национальных зон мировой экономики не смогли найти новые оригинальные способы отстаивания своих собственных интересов. Тем не менее, неразумно прилагать усилия к развитию будущего в этом направлении (хотя здесь нет никаких оснований для сдержанного оптимизма) в ситуации, когда постмодерн означает пожизненное заключение в системе настоящего времени, из которого, по-видимому, исключены нарративные категории изменения. Между тем, сокращение численности национальных заводских рабочих ведет к появлению множества безработных, которые теперь кажутся более вероятными силами политического действия (или «субъектами истории») и развитие которых ведет к появлению новой категории маргинальности. Тем не менее, все имеющиеся у нас знания о политической организации связаны с наемным трудом и его пространственными преимуществами, которые недоступны в обстановке безработицы (если не принимать в расчет сквоттеров и бидонвили или палаточные городки).

Вопрос о классе сегодня так часто служит основным практическим выражением против марксизма, что стоит сделать еще несколько замечаний. Для начала напомним, что предполагаемая несовместимость классово-политики и приоритетов «новых социальных движений» отражает исключительно американскую ситуацию, так как американцы всегда считали, что раса (а сегодня гендер) намного важнее, чем класс, поскольку сектантство и неизбежная фрагментация более крупных политических движений были такой же отличительной чертой Америки, как и религиозный фундаментализм и антиинтеллектуализм, не говоря уже о насилии и яблочном пироге. Следует также добавить, что мало кто из марксистов ныне считает, что промышленные рабочие могут составлять численное большинство населения развитых и дифференцированных современных обществ: именно поэтому левая политика в XX веке всегда принимала форму политики альянсов (независимо от неуклюжести этих программ и жульничества режимов, заявлявших о практическом воплощении этих альянсов). Грамши и по сей день остается наиболее цитируемым теоретиком в этом вопросе; что не исключает присутствия в марксизме эпохи модерна некоей общей тяги к рабочему движению, связанной с представлением о том, что у людей, работающих с машинами, должно быть иное представление о мире и иное отношение к действию и практике, чем у других классов (о чем говорили, к примеру, Сартр и Брехт).

Но здесь по-прежнему сохраняется отношение к «классу» как к группе людей под соответствующим флагом, стоящей отдельно от других групп людей с флагами, на которых начертаны слова «раса» или «гендер» (или, возможно, «друзья Земли»). Здесь следует провести различие в концептуальном статусе между идеей социального класса и идеей расы или гендера: и речь здесь идет не только об очевидном факте, который зачастую с гордым видом приводят в качестве опровержения идеи класса, что категория класса является всеобщей и представляет собой форму абстракции, способной более успешно и продуктивно преодолевать границы единичного и особенного (поскольку результатом такого преодоления границы становится отмена самих этих категорий). В этом смысле класс зачастую считают «онтологической» категорией наподобие «материи» или «материализма», что ведет к закреплению заблуждения

относительно субстанции и субстанциальности (истины, присутствия и так далее). В действительности, «истина» понятия класса, выражаясь гегельянским языком, заключается скорее в действиях, к которым оно приводит: как и в случае с материалистической демистификацией, невозможность последовательной «философии» или онтологии класса не отменяет важности и обоснованности самого классового анализа.

Но также важно показать, что то, что иногда излишне упрощенно называют «классовым сознанием», столь же внутренне противоречиво, как и категории, наподобие расы и гендера: классовое сознание имеет отношение прежде всего к подчиненности, то есть к ощущению более низкого положения. Это значит, что в головах представителей «низших классов» содержатся бессознательные убеждения относительно превосходства гегемонистских выражений и ценностей правящего класса, через которые они ритуально (и социально и политически безуспешно) переступают и которые они отвергают. Едва ли возможно найти еще одну такую страну, которая была бы столь же глубоко пропитана неприкрытым классовым содержанием, как Соединенные Штаты, что вызвано отсутствием здесь каких-то промежуточных или остаточных аристократических слоев (развитие которых могло бы, как в Европе, затушевывать современные классовые противоречия и вести к их определенному искажению и смещению): все места публичного соприкосновения классов в Соединенных Штатах, как, например, в спорте, служат пространством открытых и острых классовых антагонизмов, и ими также пропитаны остальные гендерные, расовые и национальные отношения, содержание которых символически наполняется в классовом развитии и выражается посредством классового аппарата, тогда как сами они не служат средством выражения классовой динамики как таковой. Тем не менее именно такие усвоенные бинарные оппозиции (ибо классовые отношения бинарны и способствуют превращению остальных коллективных символических отношений, например, расовых или национальных, в такие же бинарные формы) заставляют представлять такие явления в виде привилегированных пространств, которые делают возможным возникновение множества идентичностей и внутренних различий и дифференциаций. Следует также отметить, что все, что может быть сказано в этом отношении о подчиненности, связано с гегемонистским сознанием самого правящего класса, которое содержит в себе опасения и страхи, вызванные сознанием наличия низших классов, и символически отыгрывает то, что может быть названо «инкорпорированием» этих опасений и классовой враждебности, основанной на самой структуре сознания правящего класса как защитного ответа на них.

Наконец, следует отметить, что их классовое наполнение осуществляется в соответствии с формально, а не содержательно ориентированной динамикой: в соответствии с бинарной системой эти явления становятся частью фундаментальной игры классовых антагонизмов. Возьмем ставший теперь уже классическим пример: предвыборная борьба между Кеннеди и Никсоном в начале 1960-х годов была в значительной степени кодирована в соответствии с классом. Как это ни парадоксально, но именно либерала Кеннеди американские массы осознанно или неосознанно считали представителем высших слоев из-за его богатства и гарвардского образования, тогда как Никсон,

который явно страдал от сознания своей неполноценности и «стигм» мелкобуржуазного происхождения, превратился в представителя низших классов. Тем не менее остальные оппозиции, связанные с социальным опытом в целом, во многом стали перекодироваться точно таким же образом: так, в эпоху модерна, противопоставление массовой культуры и высокого искусства в Соединенных Штатах приобрело весьма отчетливый классовый символизм, несмотря на оппозиционность и антибуржуазность «высокого искусства» в Европе; хотя с появлением теории и зарождением постмодерна именно теория стала считаться чуждой и, следовательно, принадлежащей высшему классу, тогда как «по-настоящему» творческая литература, включая «творческое письмо» и коммерческую телевизионную культуру, подверглась пересмотру в популистском ключе.

Класс, таким образом, по-прежнему остается социальной реальностью и живой составляющей социального воображаемого, где с началом глобализации теперь можно наблюдать наши различные (преимущественно бессознательные или не выраженные явно) карты миросистемы. Будучи дихотомическим явлением (в каждом способе производства существует только два основных класса), он способен впитывать и преломлять гендерные и расовые коннотации и оппозиции. В то же самое время увидеть его самого мешают старые остаточные классовые образы и установки, аристократические или — реже — крестьянские составляющие, которые искажают и усложняют картину: так, в сравнении с плебейскими Соединенными Штатами, Европа и Япония могут кодироваться в качестве образцов аристократизма, а «третий мир» вместе с Восточной Европой представлять в виде в целом подчиненной области (где разница между рабочим классом и крестьянами маскируется при помощи понятий наподобие «слаборазвитости», которые не позволяют увидеть перемещение прибавочной стоимости из «третьего» мира в «первый» по мере исторического развития). При переходе в рассмотрении изменений от миросистемы к региональной системе — например, к Европе или Ближнему Востоку — классовая карта неожиданно переартикулируется в новых направлениях. Картина станет еще более яркой, если сузить рамки до одного национального государства с его внутренними классовыми противоречиями. Однако суть не в том, что такое классовое картографирование оказывается произвольным и несколько субъективным, а в том, что оно представляет собой аллегорическую сетку, посредством которой мы неизбежно истолковываем мир, и структурную систему, в которой все элементы или важные составляющие определяют друг друга и должны истолковываться и разъясняться друг через друга. Это, конечно, наиболее яркий пример изначального дихотомического противоречия, историческое возникновение которого в капитализме оказывается связанным с непрерывным процессом, в ходе которого рабочий класс под гнетом капиталистов обретает самосознание, а правящий класс под влиянием требований и угроз со стороны рабочего движения вынужден заново определять и организовывать себя. В действительности это означает, что каждый противоборствующий класс все время помнит о другом классе и раздирается изнутри чужеродным телом, от которого не в силах избавиться.

Поэтому классовые категории вовсе не служат примером «надлежащего» или автономного и чистого, самодостаточного действия корней, определяе-

мых так называемой классовой принадлежностью: нет ничего более сложного и аллегорического, чем игра классовых коннотаций на всем протяжении социального поля, особенно сегодня; и было бы большой ошибкой для марксизма отказаться от этой чрезвычайно богатой и почти нетронутой области анализа на том основании, что классовые категории представляют собой нечто старомодное и сталинистское и должны быть оставлены на время, пока в интеллектуальных спорах в новой миросистеме они не появятся вновь в пересмотренном и приемлемом виде.

Но если нам удастся приучить себя считать класс категорией (а не эмпирическим свойством, наподобие свидетельства о рождении или документа на собственность), то, возможно, разумнее будет считать класс чем-то условным и воплощенным, неизбежно требующим осмысления и уточнения при помощи категорий гендера и расы. Именно этим растущим сознанием необходимости осмысления этих категорий во взаимосвязи объясняется недавний успех таких терминов и понятий, как «артикуляция», понятий, которые хоть и не служат готовым рецептом создания альянсов, но все же обеспечивают необходимое условие для совершения полного круга при всяком локальном анализе и создания уверенности в том, что ни одна из этих категорий не будет забыта. Но в Соединенных Штатах чаще всего пренебрегают именно категорией класса: поэтому артикуляция оказывается своеобразным «возвращением вытесненного», когда различные новые социальные движения сталкиваются с неочевидными реалиями классового конфликта. Возможно, уместно завершить этот раздел замечанием о том, что класс — это также аналитическая категория, заставляющая понимать социальное как систему, которая может быть изменена только радикальным и системным образом.

IV

По поводу коммунизма следует сказать, что недавние события (приведшие к гибели многих режимов, которые носили такое название) произошли не вследствие его провала, а вследствие его успеха, по крайней мере, пока речь идет о модернизации. Левые экономисты ни в коем случае не единственные, кто превозносит марксизм-ленинизм (относительно которого должно быть понятно, что я четко отделяю его от марксизма как такового) в качестве инструмента модернизации: можно даже встретить редакторов *The Economist*, считавших однопартийное государство способом быстрой индустриализации развивающихся обществ (особенно в Африке). Еще большее удивление вызывают сегодня реакционные ревизионистские историки, которые с сожалением рассуждают о том, каких высот производительности могла бы достичь Россия без больших потрясений, если бы у власти остались либералы; не говоря уже о ссылках на процветание сегодняшнего Тайваня в качестве подтверждения превосходства экономики, созданной Чан Кайши, над экономикой коммунистического Китая. Суть же состоит в том, что Сталин модернизировал Советский Союз, превратив крестьянское общество в индустриальное государство с грамотным населением и выдающейся научной надстройкой. Таким образом сталинизм добился больших успехов и выполнил свою историческую миссию в социальном и экономическом отношении,

и бессмысленно рассуждать о том, можно ли было придти к этому нормальным, мирным, эволюционным путем. Советский коммунизм, бесспорно, был модернизационной стратегией, которая (в отличие, к примеру, от японского государственного капитализма) использовала множество социалистических методов и институтов. Использование этих институтов, обращение к социалистической риторике и ценностям и возникновение из совершенно особой и, безусловно, протосоциалистической революции привели к превращению его в олицетворение социалистических чаяний и ценностей для внешнего мира на протяжении долгого времени. Но вряд ли сегодня, когда модерн завершился или перестал стоять на повестке дня, кому-то захочется настаивать на радикальном различии между социализмом, возникновение которого — после гибели капитализма — из режима высокой индустриальной производительности предсказывали Маркс и Энгельс, и этой героической и пугающей, ужасающей и чудовищной историей насильственной модернизации отдельной страны «третьего мира».

Во всяком случае самое время заняться рассмотрением краха коммунизма: его объяснением с точки зрения успеха этой системы (а не с точки зрения скрытых изъянов и слабостей), причем таким объяснением, которое подтверждает сохранение за марксистской теорией ее объяснительной способности в обстановке, когда нередко говорят о ее несостоятельности. И необычайная экспансия капиталистической системы, которая использует свой глобальный охват для перехода на новый и более интенсивный этап развития международных отношений, способствует наиболее точной оценке Советского Союза. Такая оценка не связана с соперничеством двух «систем», хотя в ней придается особое значение воодушевлению, с которым советские лидеры «эпохи застоя» стремились присоединиться к зарождающейся новой миросистеме, отчасти для того, чтобы получать еще большие займы и потреблять еще больше привлекательных (и, по сути, высокотехнологичных и коммуникационных или информационных) продуктов Запада.

Однако я считаю, что соперничество в оборонных расходах и тактика, которая помогла рейгановской администрации привести Советский Союз к невиданным военным издержкам, которые были ему не по карману, и с которой чаще всего связывают советский крах, также должны быть поняты в этом ключе, то есть в качестве еще одной разновидности типично западного потребления. В результате советское государство покинуло надежное убежище своей системы в ошибочной (хотя и вполне понятной) попытке заполучить продукты, в которых у него не было никакой экономической или системной нужды (в отличие от американцев, чье послевоенное процветание во многом зависело именно от таких военных расходов государства). Конечно, контрреволюционная стратегия зачастую предполагает наличие таких долгосрочных системных угроз, превращающих демократические революции в осажденные крепости, включая невиданную надзорную и полицейскую активность и классическое развитие террора, восходящее по крайней мере к временам Великой французской революции. Но уникальность этой частной попытки, пришедшейся на рубеж между производством эпохи модерна и постмодерна, определило своеобразие кооптации, переноса ценностей и привычек потребления, особенно губительных для таких еще существовавших революционных инсти-

тутов. Это также говорит о важном культурном измерении процесса, к которому мы вернемся позднее.

Но системная взаимосвязь — это палка о двух концах: из-за внешнего долга и развития торгового сосуществования Советский Союз, изначально изолированный в своей особой области давления под неким идеологическим и социально-экономическим геодезическим колпаком, необдуманно, в отсутствие необходимых скафандров, начал открывать шлюзы и тем самым подверг себя и свои институты намного более сильному давлению внешнего мира. Результат можно сравнить с тем, какое воздействие оказала взрывная волна на хрупкие структуры, находившиеся в непосредственной близости от места взрыва первой атомной бомбы; или с гротескным и деформирующим воздействием, которое оказывает огромное водяное давление на дне моря на беззащитные организмы, развивавшиеся на воздухе. Эти образы следует понимать физически, как описание точечного воздействия позднего капитализма на ту или иную отдельную форму, а не как подтверждение уязвимости системы: речь идет о воздействии совершенно иной динамики и как бы иной совокупности физических и естественных законов.

Три примера именно такой системной несовместимости можно встретить в феномене государственного долга и в господствующих императивах эффективности и производительности. Долг принимает две формы, одну из которых, при взгляде извне, можно наблюдать в катастрофе стран «третьего мира»; другая, более внутренняя, по-видимому, связана с государственным бюджетом. В последнем случае политика осложняется воображаемым, которое требует уподобления приоритетов правительства тому, как простые люди распоряжаются своими частными доходами, — этот вопрос имеет прямое отношение к психоанализу, поскольку подобные аналогии не особенно полезны при рациональном осмыслении самого государственного долга, ибо, как показал Хейлбронер, «расплата по нему» обернулась бы катастрофой, и рассуждать о нем в таких терминах в корне неверно. В сущности, на кону в этих сложных спорах стоит репутация данного национального государства, то есть оценка его экономической жизнеспособности другими государствами. Это особенно важно, когда дело касается внешних заимствований или обеспечения надежности иностранных инвестиций; но старые ценности автаркии (а не только их сталинистская разновидность) ставят во главу угла финансовую независимость. Не раз говорилось о том, что национальная экономика подобного рода больше невозможна; достаточно очевидно, что невозможно сохранить автономию, если кто-то жаждет стать частью существующей сегодня транснациональной системы; и Куба, и Северная Корея, по-видимому, служат примером нежизнеспособности попыток сохранить свою независимость. С другой стороны, если представить, что автономия или, иными словами, сопротивление различным ограничительным нормам позднекапиталистической экономической практики при определенных обстоятельствах может становиться предметом национальной гордости, то появляется удобная риторика, осуждающая национализм как варварскую коллективную фантазию и источник бесконечного насилия (здесь явления национального и этнического вдруг начинают отождествляться и смешиваться друг с другом). Во всяком случае, утрата национальной автономии, сознательная или нет, оказывает непосредственное

влияние на подчинение национального государства внешнему финансовому регулированию, и в то же самое время долг не исчезает вместе с коммунистическими режимами, начавшими его накопление.

Эффективность — это еще одна из тех международных норм, которые могут быть не особенно важными для стран, основанных на иных принципах; конечно, упрек в неэффективности — архаичные заводы, древние громоздкие технологии, расточительные производственные методы — один из излюбленных упреков в адрес (теперь уже не существующего) советского осла, и в нем содержится куда более простой исторический урок, чем тот, что излагается здесь, а именно — что Советы «проиграли», потому что их производство было некачественным и не выдерживающим сравнения с нашим (и, как бонус в виде дополнительного идеологического вывода, потому что социализм сам по себе был глубоко неэффективным). Но мы только что показали, что подобное сравнение или соперничество само по себе не имело значения и сработало только тогда, когда Советы решили влиться в мировой рынок. (Как говорилось выше, война, будь то Гитлера со Сталиным или американцев во времена «холодной войны», навязывала своеобразную вынужденную конкуренцию; гонку вооружений, таким образом, можно считать своеобразным средством принуждения русских присоединиться к мировой системе).

Но изначально эффективность является не абсолютом, а приоритетом, который вполне может занимать второстепенное положение по отношению к другим, не менее рациональным соображениям. В действительности, Суизи и Магдофф несколько лет тому назад доказали на примере китайской и кубинской революций, что при построении социализма промышленное производство можно считать разновидностью коллективной педагогики: не просто перевоспитанием крестьян, чья ментальность должна быть преобразована расширенной грамотностью самой машины, но и политическим воспитанием заводских рабочих в форме самоуправления. Можно представить, что для социальной революции, которая должна решить более насущные проблемы острого голода и нищеты, иногда могут существовать ценности, более важные, чем эффективность, основная задача которой состоит в сравнении между различными видами национального и международного производства и значение которой, таким образом, изначально связано с вопросом производительности.

Но производительность, как давным-давно учил Маркс в своем «Капитале», сама по себе не является вневременным абсолютом, который странным образом позволяет выносить безоговорочную оценку труду людей: она создается именно единым рынком и затем уже вводит в действие такой стандарт сравнения между различными фирмами, который в конечном итоге вытесняет тех, кто не в состоянии соответствовать новым требованиям. Именно в этом смысле обувной завод, вполне удовлетворительно работающий в некой изолированной деревне в провинции, потребности которой он удовлетворяет, внезапно оказывается почти неработоспособным анахронизмом, когда после поглощения более унифицированной системой ему приходится отвечать стандартам метрополии. Таким образом, более высокая производительность на шкале сравнения означает не только новое оборудование, но и новые технологии, которые могут оспаривать стандарты, установленные где-то в другом

месте: суть, однако, заключается в том, что производительность — это понятие сравнительное, а не абсолютное, и оно имеет смысл только там, где на рынке начинают вступать во взаимодействие различные формы производительности, которые теперь могут сравниваться друг с другом. В таком взаимодействии между изолированными заводами или целыми регионами ограничение контекста имеет решающее значение, а открытие границ может оказаться губительным для более скромной, но зачастую не менее успешной деятельности по другую сторону этой границы.

Все это и произошло с Советским Союзом и его странами-сателлитами, когда они выработали план вхождения в капиталистический мировой рынок и водружения своей звезды на зарождающуюся миросистему позднего капитализма, какой она стала за последние двадцать лет.

Мы также можем учитывать возможность того, что на самом деле период застоя, когда экономический упадок и моральное разложение руководства сопровождались утратой политической воли или амбиций с цинизмом и общим ощущением бессилия, не ограничивался одним лишь Советским Союзом, но имел свои эквиваленты во всем мире. То, что, например, Хишам Шарابي описывает в своей одноименной книге как «неопатриархат» в арабском мире, по-видимому, четко соответствует более передовым и западным крайностям рейгановского и тэтчеровского режимов. Было бы ошибкой считать этот всеобщий застой (сопровождавшийся поразительным ростом числа распущенных и непроизводительных богачей) отражением цикличности, когда ничем не ограниченная спекуляция политических 1960-х повторилась на новом витке, на смену которому, по-видимому, придет определенный возврат к правительственной ответственности и государственному вмешательству.

Во всяком случае застой, по-видимому, совпадает с появлением Долга (и, возможно, служит его главной причиной), когда в начале 1970-х годов банки «первого мира» начали давать займы свои неинвестируемые излишки «второму» и «третьему миру»; и с изобретением слова и стратегии «дерегулирования» около 1976 года. Но более важный исторический вопрос относительно такой периодизации связан с самой проблемой модернизации и тем, что его статус может определяться тем, что теперь принято называть постмодерном.

В своей четко и ясно аргументированной работе, о которой уже говорилось выше, Роберт Курц показал, что мы связываем модернизацию и модерн друг с другом куда более тесно, чем мы привыкли думать, и что мы, таким образом, делаем вывод о том, что модерн и есть модернизация: индустриализация, строительство новых заводов, введение новых производственных мощностей; и что, каким бы ни был постмодерн, он больше не связан с модернизацией или производством в сколько-нибудь значительном смысле.

В своей книге Курц призывает нас задуматься о чрезвычайной мобильности, которую обрели беспрецедентные объемы капитала, перемещающиеся по миру со скоростью, приближающейся к одновременности как своему объективному пределу. И там, где капитал на какое-то время задерживается, наиболее высоки норма прибыли и приспособленность к высокотехнологичной промышленности или постиндустриальному постмодерну: законы капитала по определению исключают инвестиции в устаревшие формы производства, связанные с индустриальной эпохой модерна. Норма прибыли в них намного ниже, чем в высо-

ких технологиях, а скорость новых международных трансферов существенно облегчает переход мобильного капитала от этих застойных заводов старых заводов к более передовым технологиям. Но именно в этих старых формах производства эпохи модерна и нуждаются развивающиеся страны (и даже слабо развитые области развитых или передовых стран) для того, чтобы «развиться» и «модернизироваться», чтобы создать базис, позволяющий обрести определенную индустриальную автономию. Международный капитал больше не задерживается на них или на какой-то «модернизации» в этом классическом смысле слова. Такое положение, таким образом, в высшей степени неблагоприятно, если не сказать противоречиво: ибо подавляющее большинство стран «третьего» и бывшего «второго мира» все еще остро нуждается в модернизации; тогда как для капитала, стремительно переходящего от одной области с дешевой рабочей силой к другой, в конечном счете, привлекательны только кибернетические технологии и инвестиционные возможности постмодерна. Тем не менее, в новой международной системе немногие страны способны наглухо закрыться для того, чтобы провести самостоятельную модернизацию: большинство уже попало в замкнутый круг международного долга и потребления, из которого им не удастся вырваться. Причем по вполне понятным социальным и экономическим причинам новая кибернетическая технология может использоваться только в таких развитых странах: она не создает новых рабочих мест или социального богатства, она не обеспечивает даже минимального замещения импорта, не говоря уже о национальном производстве товаров первой необходимости. По выражению Курца, «рано или поздно закон прибыли безжалостно заявит о себе — закон, который гласит, что рыночной стоимостью обладает только то производство, которое отвечает сегодня международным требованиям производительности» (*Kollaps der Modernisierung*, 196).

Таково более глубокое значение окончания эпохи модерна: осознание того, что модернизация больше ни для кого невозможна. Таково единственно возможное значение постмодерна, которое кажется тривиальным, если считать его простым обозначением перемен в моде и господствующих идеях и ценностях. И это проявление постмодерна осталось непонятым Советами, отказавшимися от построения «социализма в одной, отдельно взятой стране».

Об этом всегда можно рассказать иначе: в действительности, это даже необходимо, поскольку только множество возможных повествований позволяет начать создание «отсутствующей причины», которая лежит в основе всего этого и которая не может быть выражена в качестве таковой.

Поэтому здесь можно предложить альтернативное повествование, акцентирующее внимание на культурных недостатках коммунизма: его склонность к потреблению, его зачарованность всевозможными западными продуктами, но, прежде всего, особыми продуктами эпохи постмодерна (информационной технологией в самом общем смысле слова) — эти фатальные слабости, которые притягивали коммунизм к огромному рынку западной мир-системы, свидетельствуют о культурной слабости, неспособности появления какой-то особой социалистической коллективной культуры или хотя бы такого сочетания образа повседневной жизни и практики субъективности, которое не отставало бы от западных форм и составляло бы жизнеспособную (и системную) альтернативу.

Влияние ислама сегодня ни в коей мере не связано с его особыми притязаниями на то, чтобы предложить такую альтернативу западной культуре. И в этих рассуждениях, конечно, присутствует порочный круг, поскольку значение культуры настолько велико, чтобы развить к настоящему времени в себе просто «экономическое»: если «развлечения» являются основной американской индустрией, то походы по магазинам и потребление — это основное проявление американской культурной активности (наряду с религией). Поэтому бессмысленно спорить о том, что появилось раньше — курица или яйцо: неважно, совершили ли жители Восточной Европы решающий шаг в сторону западного рынка вследствие «культурной горячки» или же она стала простым отражением того, что они и так уже делали.

Наконец, считаем ли мы исчезновение Советского Союза благом? Некоторые радикалы вполне обоснованно утверждают, что исчезновение коммунизма сделает левую политику в США более жизнеспособной, только если она избавится от налета иностранности и импортированности, а также «тирании». Между тем сохранившиеся движения за национальное освобождение должны горько сожалеть об исчезновении той материальной помощи, в оказании которой Советы (отдадим им должное) зачастую были так щедры. Что касается остального мира, не говоря уже о нашем самопознании и моральном благополучии, то кажется, что торжествующее одиночество не пойдет на пользу лицемерным и самодовольным янки. Мы никогда не понимали в полной мере подлинной культурной самобытности, в частности, потому, что мы никогда не считали нашу разновидность капитализма и нашу разновидность избирательной системы особенностью культуры (а не совершенно очевидной целью и результатом всей истории). Когда-то само существование Советского Союза сдерживало развитие этих тенденций и зачастую позволяло той или иной общности заявлять о своем национальном своеобразии, провозглашать независимость и совершать зачаточную социальную революцию, в которой сегодня по-прежнему остро нуждаются все страны мира. Иракская война показала, как мы ведем себя, когда такие ограничения отсутствуют: при этом Европа или Япония вряд ли способны взять на себя роль морального противовеса, поскольку сначала нужно ответить на вопрос о том, насколько они остаются самостоятельными культурами и не разъела ли американизация самую суть того, что некогда казалось важнейшей культурной традицией, хотя и несколько тоньше и незаметней, чем в случае с разложением якобы социалистических традиций Восточной Европы.

V

Это подводит нас к нашей заключительной теме (которая, конечно, на самом деле и рассматривалась нами на протяжении всего этого времени), а именно — природе позднего капитализма, или сегодняшней миросистемы, и месте марксизма в ней. Этот вопрос, по-видимому, необходимо дополнить еще одним, предварительным, а именно — о каком марксизме идет речь? — поскольку немногие интеллектуальные течения страдали от такого количества внутренних расколов. Очевидно, что раскол между теоретическим или высокоинтеллектуальным марксизмом и практическим или даже вульгарным народ-

ным марксизмом, например, не вполне соответствует противостоянию между так называемым «западным» марксизмом и стигматизированным советским марксизмом, не говоря уже о противопоставлении Гегеля и Маркса или исторического и диалектического материализма, но между всеми этими противостоящими друг другу течениями, приверженцы которых зачастую вступают друг с другом в страстные баталии, существует определенное сходство. Всякий гиперинтеллектуальный или философский марксизм, по выражению Брехта, должен содержать в себе нечто вульгарное: при этом сам основатель того самого марксизма-ленинизма, который служит для большинства людей олицетворением вульгарной доктрины, некогда восклицал: «Все марксисты должны, *ex officio*, составлять “общество материалистических друзей гегелевской диалектики”!»

Такая противоположность, несомненно, обнаруживает неразрешимый разрыв — в марксизме, но не только в нем одном — между субъектом и объектом, между непримиримостью сознания и мира. Вульгарный марксизм явно не обходится без этого: поскольку его «большое повествование» о способах производства и переходе к социализму вызывает вопросы о повествованиях вообще и о социализме в частности. Суть не только в том, чтобы показать пустоту политической практики левых, обусловленную кризисом коммунистических и капитуляцией социалистических партий, но и в том, чтобы обозначить само пустое место всякого видения Истории, которое позволяет осуществить теоретическое и аналитическое осмысление локальной и национальной практики. В эту пустоту и хлынули различные манихейства и апокалипсисы; конечно, невозможно представить, что из этого шлама со временем может быть создано новое видение истории: утверждение, что оно обязательно будет марксистским в самом общем смысле слова, означает признание того, что из всех нынешних соперничающих идеологий только марксизм упрямо сохраняет свою основополагающую связь с Историей как таковой, то есть со спасительным образом будущего, без которого он неизбежно потерпит провал как политический проект и как область научного исследования.

Более философский или, если брать худший сценарий, более академический марксизм никогда не переживал более бурного расцвета, о чем свидетельствует необычайное богатство современной марксистской экономической и исторической литературы, на самом деле несколько парализованной нынешним нежеланием завершить свои повествования на торжественной ноте с воспеванием будущего. Если практический марксизм профсоюзов и политических партий был марксизмом базиса, то возникает соблазн отождествить этот марксизм профессоров с надстройкой, учитывая, что, во-первых, само противопоставление восходит к «вульгарному», или народному, марксизму, а не к его более изощренной разновидности, а, во-вторых, в основе всех этих нынешних теоретических экономических и исторических исследований капитализма лежит подчас невысказанное открыто предположение о том, что в позднем капитализме отношения между надстройкой и базисом претерпели глубокие структурные преобразования. Тем самым предполагается более сложное представление о взаимосвязи между базисом и надстройкой, нежели то, что существовало ранее, и создается потребность в более сложных теоретических решениях и моделях; в действительности это означает совер-

шенно новую теоретическую повестку дня для марксизма, о которой здесь можно сделать только несколько общих замечаний. С одной стороны, такой поворот событий — структурные преобразования позднего капитализма — объясняет определенный сдвиг «теоретического марксизма» от философии к культуре. Философские темы, преобладавшие в так называемом западном марксизме, сохраняют свое значение; прежде всего, теоретическое осмысление тотальности, всегда справедливо считавшейся пост- и антимарксистами основной — теоретической и практической — составляющей марксистского проекта, поскольку она позволяла осмыслять капитализм как систему и соответственно говорить о существовании системных взаимосвязей в современной действительности. Из соперничающих мировоззрений, наверное, только экология требует подобной тотальности осмысления; и выше мы попытались показать, что ее повестка дня — столь же насущная и необходимая — неизбежно включает в себя социалистическую. Но вульгарное неприятие тотализации с социальной и культурной точки зрения (дескать, она предполагает «тоталитаризм», превосходство интеллектуалов над народом, единственную политическую партию, нетерпимую к инакомыслию, невнимание к местным особенностям или бульшую важность классово-политики по сравнению с гендерной и расовой и т. д. и т. п.) свидетельствует о слабости концептуальной мысли и ее замене имеющей отношение к культуре избитой доксой. Между тем некоторые другие крупные полемические области прошедшей эпохи — структурную причинность, идеологию, отношение к психоанализу и тому подобное — сегодня лучше считать культурными по своей сути проблемами. Марксизм традиционно создавал возможность обсуждения этих проблем, но, оглядываясь в прошлое, можно сказать, что речь здесь шла об относительно ограниченной и специализированной области, которая изначально ограничивалась так называемой теорией овеществления и товарного фетишизма. Итак, в заключение необходимо сказать, что в ближайшем будущем основным средоточием теоретического марксизма как такового станет эта доселе малоизученная область силового поля позднего капитализма. Возможно, стоит рассмотреть связь теории товарного фетишизма с практической политикой и, в частности, вопрос о преимуществах марксистского анализа позднего капитализма перед его либеральными и консервативными конкурентами. Ибо критика товарного фетишизма составляет, конечно, основную проблему всякого исследования своеобразия позднего капитализма и анализа наиболее горячо обсуждаемых политических и социальных проблем.

Очевидно, что политическая критика потребления при позднем капитализме, постепенно переходящая в критику американского общества в целом, по большей части неизбежно тяготеет к мобилизации этической или морализаторской риторики и суждениям, которые неразрывно связаны с такими установками. Но, конечно, такая риторика плохо подходит для общества, в котором религия выродилась в этнический признак или хобби небольших общин, а морализм в лучшем случае является безобидной поколенческой причудой, а в худшем — выражением негодования и исторической горечи; что касается великого пророчества, если нечто подобное все еще возможно, то оно сегодня может существовать только в виде замысловатого красноречия или психического расстройства. (На самом деле возрождение этики как

одного из разделов философии и последующая колонизация ею политической философии служит одним из наиболее регрессивных признаков и симптомов идеологической обстановки постмодерна). Поэтому, исходя из практически-политических и философских соображений, отказ от моралистических высказываний о потреблении кажется вполне уместным. В последние годы подобные этические мобилизации, увенчавшиеся успехом в Соединенных Штатах, принимали ксенофобские или расистские формы и сопровождались иными проявлениями, свидетельствующими о глубоких опасениях и страхах белого большинства. Только в исторически оппозиционных подгруппах, наподобие негритянских общин, встречается справедливое моральное недовольство, содержащее в себе важный политический призыв к всеобщей справедливости (ибо ценности могут существовать только там, где существует «социальное равенство»). От всех этих этико-политических «великих повествований» светских либеральных левых остается только вызывающая насмешки у большинства «политическая корректность». Но и религия добивается сегодня результата только тогда, когда (в соответствии со своей этимологией) ей удастся выразить и скоординировать опыт группы, который в нынешней обстановке неизбежно тяготеет к тому, чтобы стать узким и замкнутым или сектантским, а не всеобщим.

Кроме того существует еще одна разновидность моралистической или религиозной критики общества потребления, чье воспроизведение философских изъянов и политических слабостей последней может быть куда менее очевидным: речь идет о том, что можно по-разному называть психологической или культуралистской критикой. Не иссякает поток книг и статей об «американской жизни», которые, старательно эссенциализируя свой предмет, не способны осмыслить консюмеризм в качестве социально-экономического процесса или произвести его оценку в качестве идеологической практики. Правило Дюркгейма по-прежнему служит основным философским возражением такому образу мысли: всякий раз, когда мы сталкиваемся с психологическим объяснением социальных фактов, мы можем быть уверены в том, что оно ложно. Аксиома, что социальные факты отличаются от индивидуальных фактов психологического или экзистенциального опыта (и мы уже отмечали, что марксизм проводит еще большую дифференциацию, последовательно отделяя экономическое от политического, а также то и другое вместе от социального и психического — все они руководствуются своими полуавтономными законами и развиваются с различной скоростью в различных областях). Во всяком случае, использовать категории индивидуального или экзистенциального опыта для понимания социальных явлений — независимо от того, идет ли речь о моральных или психологических категориях, — значит совершать фундаментальную «категориальную ошибку», вследствие которой происходит антропоморфизация и социальная аллегоризация коллектива в индивидуальных терминах. Возможно, называя марксистское объяснение консюмеризма и товарного фетишизма в противопоставление этому антропоморфическому объяснению «структурным», мы и не отдаем должное значению диалектических объяснений, но, по крайней мере, мы подчеркиваем, что потребление в этом случае осмысляется в качестве объективного и безличного процесса, который структурно необходим для капитализма и значение которого

не может быть принижено по каким-то моральным соображениям, тем более вовсе быть выпущенным из виду. Такое объяснение в действительности заново соединило бы в себе французскую и немецкую традиции и включило бы наработки франкфуртской школы по овеществлению и товарному фетишизму в постальтюссерианскую перспективу, которая больше не пытается выносить за скобки такие внешне экзистенциальные и опытные составляющие, которые, однако, являются столь же реальными, объективными и историческими, как и различные дисциплинарные и институциональные уровни, на которых Альтюссер обычно выступал против них. Преимущество функционального объяснения роли, которую товарный фетишизм играет в системе позднего капитализма, заключается не только в том, что оно позволяет нам отделить такое описание постмодерна от другого, преимущественно культуралистского и морализаторского, но и в исторической новизне, приписываемой этому типу общества. Конечно, в этом анализе есть и этическая составляющая, но необходимо сложное и диалектическое осмысление капитализма в целом, наподобие того, что было дано в «Манифесте Коммунистической партии», где одновременно превозносились разрушительные и прогрессивные черты последнего и подчеркивалась его способность к освобождению и масштабному насилию. Только диалектика позволяет разрешить такую основополагающую двусмысленность или двойственность, ибо она вовсе не является простой неопределенностью и может выражаться сегодня в позициях относительно постмодернизма и постмодерна, когда простое одобрение нового социального плюрализма постмодерна или сожаление о его аполитичной одномерности кажутся слишком упрощенными. Таким образом, основное противоречие капитала явно не изменилось с переходом его на эту третью или постмодернистскую стадию; и мне кажется, что только марксистская диалектика способна осмыслить систему адекватно, без идеологических упрощений. Задача же заключается в том, чтобы избежать этической бинарности, которая лежит в основе всей идеологии: чтобы найти позицию, которая не повторяет пуританство и морализаторское осуждение, свойственное некоторым старым разновидностям марксизма и радикализма (и не только им), и не сдается на милость бессмысленной эйфории рыночной риторики, подкрепленной энтузиазмом по поводу высоких технологий; короче говоря, чтобы попытаться осмыслить поздний капитализм без регресса к ранним, более простым стадиям социального развития, обнаружив будущее в настоящем, как это сделал Маркс применительно к современному для него капитализму.

Глобализация и информационная технология представляют собой основные нововведения этой «постсовременной» стадии капитализма, и именно они будут представлять интеллектуальный и политический интерес для марксизма. Только с точки зрения миросистемы теория овеществления со своей культурной перспективой может быть осмыслена в связи с экономической теорией кризиса, а новая и постоянная структурная безработица может быть понята в качестве неотъемлемой части тотальности, в которой финансовые спекуляции и постмодерн массовой культуры являются неотъемлемыми составляющими. Только с такой точки зрения могут быть развиты новые формы международной политической практики, которые позволят справиться с утратой национальной автономии, связанной с новой миросистемой,

и найти способ извлечения силы из ослабления национальных рабочих движений и стремительного перемещения капитала. При этом не следует упускать из виду международную организацию радикальных интеллектуалов, ибо возможности новых коммуникационных систем вполне могут использоваться не только структурой бизнес-власти, но и левыми. Все это означает, что нынешняя эпоха требует двойственной или неоднозначной политики (учитывая, что слово «диалектический» по-прежнему немодно): акцента на большом коллективном проекте, сосредоточенном на структурной невозможности; приверженности глобализации, для которой утрата автаркии является катастрофой; культурной сосредоточенности на экономике и экономических исследованиях для понимания по сути своей культурной природы позднего капитализма; массовой демократизации мирового рынка при помощи мировых информационных технологий на фоне массового голода и постоянного сокращения объема промышленного производства — вот лишь некоторые парадоксальные противоречия и противоречивые парадоксы, с которыми приходится сталкиваться «позднему» или постсовременному марксизму. Это покажется удивительным только тем, кто считает, что марксизм «умер», или полагает, что он «сохранился» в остаточном виде вне контекста и экосистемы, которая позволила ему когда-то — пусть и не надолго — достичь расцвета. Но кажется парадоксальным объявлять о смерти марксизма, одновременно празднуя окончательный триумф капитализма. Ибо марксизм, в сущности, является наукой о капитализме; его эпистемологическое отличие состоит в непревзойденной способности описания исторической новизны капитализма, основные структурные противоречия которого наделяют его политическим и пророческим призванием, едва ли отделимым от его аналитического призвания. Именно поэтому какими бы ни были превратности его судьбы, постсовременный капитализм неизбежно вызывает к жизни постсовременный марксизм.

Перевод с английского Артема Смирнова